

Г 19 КР
28/497

А. ТАРАСОВ

ОХОТНИК

АВЕРЬЯН



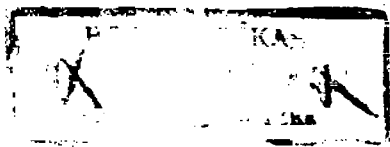
©



А. ТАРАСОВ

ОХОТНИК
АВЕРЬЯН

28499.



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1941

Т-19

+

ткр.

Художник А. Усачев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Настасью звали заозеркой, потому что родилась и выросла она за озером Воже в маленькой лесной деревушке Белые ключи.

Вавила привел ее позапрошлый год тихо, как бы украдкой, в светлую июньскую ночь. Держалась Настасья ото всех в стороне, была молчалива и неприметна.

Весной ее выделили варить для пахарей обед, и тут заозерка всех удивила. Оказалось, что она расторопна и порядком грамотна, что с ней просто хорошо побеседовать.

Как-то в столовую зашел счетовод Аверьян. Настасья стояла среди избы и сучила нитки. В корзине у ее ног прыгал большой золотистый клуб пряжи. Хозяйка избы, вдова Устинья, сидела в полумраке за шкафом, шила и, немного гнусава, что-то рассказывала. Время от времени обе смеялись.

Аверьян заметил, что Настасья одета в чистенькое ситцевое платье, аккуратно подтянута ремешком. Руки у нее чистые и белые.

— У вас весело, — сказал он.

Устинья кивнула на повариху.

— Форсит без мужа-то. Сидит себе Вавила в Архангельске, а тут живи одна, страдай, баба. Ведомости не пришлет, не напишет: как — ты, как — сыночек, как — родные? Ну и ей не монашкой жить. Тоже путеводитель нужен...

Настасья подняла смеющееся лицо.

— Ищи их, путеводителей-то.

— Ну, матушка, это дело не хитрое. Говорят, в чужую жену чорт ложку меду кладет.

Все трое засмеялись.

Потом Настасья притихла, положила нитки и стала собирать на стол. Видно было, что этот разговор ей неприятен.

Вавила вот уже полгода работал на лесоэкспорте. По вечерам где-то учился. Писал редко.

Аверьян присел на лавку и стал исподтишка наблюдать за работой поварихи.

Делала Настасья все легко, проворно и с удовольствием. Посуда, ложки, хлеб — все, к чему она прикасалась, выглядело хорошо, опрятно. И в избе Устиньи, старой и прокопченной, все казалось по-новому ладно и даже как бы светлее, а между тем Настасья только чаще мыла пол, лавки да на стены повесила несколько маленьких картинок.

«Она совсем молодец», — подумал Аверьян уходя.

Они живут в одном конце деревни. Вечером, возвращаясь с работы, Аверьян встречает ее на тропе в поле.

— О! Будто сговорились.

— А разве нет? — шутит Настасья.

После жаркой избы запахи поля пьянят. Хочется сесть на пригорок и помечтать, как, бы-

вало, в детстве, о тысяче милых, наивных вещей.

Тепло. Тихо. Над деревней летят журавли.

Настасья осматривается кругом.

— Как землей-то пахнет. У нас, бывало, глянешь в сторону — вода, в другую — вода. И запах совсем не такой. Я и здесь все еще выйду и слушаю — не шумит ли, не плещется? Нет, все земля и земля.

Стоят у Аверьянова огорода. Здесь начинаются длинные одворные полосы. Земля лежит вокруг лиловыми озерами, рыхлая, рассыпчатая, полная великой силы.

— Ну, надо итти, — говорит Настасья.

И не уходит.

Прислушиваются к курлыканью журавлей.

— Ты что же, Аверьян, утром в Вожгу?

— Да, надо Аленку отправить.

Аленка учится в семилетке, раз в неделю она приходит домой.

— По дороге-то сухо, взял бы меня.

— Давай.

Она идет. Снова останавливается и поясняет:

— А у меня неотложно. Надо кое-что купить.

Маленькая, краснощекая Аленка начинает собираться. У нее светлорусая коса с голубой лентой, как у взрослой девушки. Она вообще старается казаться старше своих лет, но голубые глаза ее всегда веселы, она вечно двигается, поет, что-нибудь рассказывает, смеется.

Лошадь хрустит у окна сеном и бодро фыркает.

Мать выносит Аленкины книги, корзину с хлебом. Отец заботливо укладывает все это в

телегу. Там, где должна сидеть Аленка, сено взбивает горой. Потом стоит у лошади, ждет и смотрит в поле.

Дальние склоны еще охвачены широкими, мягкими тенями. В пятнах солнечного света появляются фигуры женщин-сеяльщиц, несколько минут пестрят яркими платками, кофтами и снова блекнут. Всюду лежит черная, оплодотворенная земля, и в бороздах, мирно поблескивая перьями, бродят грачи.

— Ну, ну, Аленушка, торопись. Вот пабе-режские поехали.

Мать стоит у палисада и машет Аленке рукой.

— Не опоздать бы, дочка, проспали...

— Ничего, — успокаивает Аверьян. — Вёрхом поедem, там сухо, можно и подстегнуть.

Аленка рассказывает о школьных делах. Отец поддакивает ей. Так они проезжают деревню. Тут Аверьян вспоминает о Настасье: раздумала. Да и зачем ей в такую рань?

Однако смотрит на маленькую Настасьину избу с тремя белыми окнами, на желтые баясины крыльца. Топится печка.

— Вот как, — говорит он Аленке, — значит, эти трое с Бора так весь день на реке и валандались?

— Да. Все уроки пропустили.

— Чудаки...

«Удивительное дело эти бабы, — снова думает Аверьян. — Любят они болтать. Хорошо, что не стал дожидаться...»

Въезжают в лес. Под елками нарастающая прохлада ночи. Пахнет мхами, поднимающимися лесными травами и валежником.

Чорт возьми, как быстро летит время! Зима! Несчитанные часы над бумагами, споры на собраниях, а утром, порошей — на зайца. Ему вспоминается темная, спящая изба. Осторожно ступая босыми ногами, он двигается к передней стене и чиркает спичку. Мечутся тени. Зеленый павлин смотрит с доски ходиков большим глупым глазом: пять! Рано. Но все равно не заснуть. Он зажигает лампу, надевает валенки и достает из сундучка книгу. Проходит полчаса. Час. За окном начинает постукивать голыми сучьями береза. Он тихонько одевается, берет в темных сенях лыжи, ружье, лопатку, капканы и выходит в синее поле.

Вечером он бережно раскрывает на столе тетрадь с пометкой на обложке: «Вологодское общество краеведения», не торопясь ставит число и записывает:

«Сегодня впервые заметил: начала сыпаться хвоя».

«Наблюдал перекочевку большой стаи клестов. Остановились в густом еловом лесу близ урочища «Высокая грива».

За окном поскрипывает белая дорога. У часовни, собравшись в кружок, лают на луну собаки.

И вот уже ничего этого нет. Снова земля полна материнской силы, тончайших запахов, звуков и красок. Мир расширяется до беспредельности, и он, маленький человек, снова не может спать по ночам, весь охваченный желанием бежать и слушать весенние голоса, шорохи, ощущать теплое дыхание земли...

На третьем километре они видят впереди женщину в синем платке, в серой юбке с тремя

оборками, в одной руке она несет сапоги: Настасья.

Юбка ее высоко подоткнута, босые ноги в грязи. От ходьбы порозовела, глаза блестят.

Она бросает сапоги в телегу и попутно треплет Аленку по щеке.

— Эх, ты, солнышко.

Рука у нее теплая и быстрая. Аленка улыбается.

Улыбается и отец. Он слезает с телеги и идет рядом с Настасьей краем проселка. Тут сухо, хрустит под ногой песок.

Аленка сидит впереди и что-то напевает.

— Люблю босиком ходить, — говорит Настасья. — Мы, бывало, с подружкой и в праздники захватимся за руки — и пошли босиком по деревне. Песни поем...

— Как же ты сюда-то попала?

— Захотелось на сухой берег, вот и попала.

— Стало быть, суженый тут... — улыбается Аверьян.

— Да, видно, так. Парня совсем не знала и пошла.

— Другой-то был?

— Был... Да еще какой...

— Ну и что же?

— Был да весь вышел...

Они болтают всю дорогу. Десять километров проходят незаметно.

— Так, дочка. Значит, жду через недельку.

— А если не приду? — лукаво смотря на отца, говорит Аленка.

— Что ж, надо сказать прямо — тужить заставишь.

Аверьян трогает Аленку за плечо, сует ей в руку рублевку и идет в МТС.

Он задерживается в МТС, потом в кооператив. Когда все дела закончены, бежит к лошади и видит у телеги фигуру Настасьи.

— Ну, вот и хорошо, — с улыбкой говорит он. — А где твои покупки?

Настасья машет рукой и что-то бормочет.

Он начинает подбирать у лошади из-под ног сено, поправляет упряжь. Потом берет Настасью подмышки и хочет посадить на телегу.

— Какая тяжелая.

— А ты уйди. Я сама.

И Настасья ловко прыгает в сено.

От школы к лесу крутой спуск. Застоявшийся мерин рьяно берет с места. Аверьян дает ему волю. Телегу подкидывает, бросает из стороны в сторону. Настасья вскрикивает, хватая кучера за плечи, и оба весело смеются. Навстречу лес. Сосны в золоте и фиолетовых пятнах. Густо пахнет смолой и откуда-то издалека — влажными прошлогодними листьями.

— Шальной, не довезешь живую!

— Засиделась. Надо поразмять...

Они весело разговаривают всю дорогу, и когда Настасья слезает, на мгновение он ощущает печальную пустоту и думает:

«Все-таки зачем же она ездила?»

Глава вторая

Он стал присматриваться к Настасье и каждый раз открывал в ней что-нибудь новое.

Он заметил, что пахари, попадая в столовую, стихали, смирились. Пожилой, степенный Иван

Корытов даже ходить старался тише и все с улыбкой посматривал на повариху:

— Рыбки бы, Григорьевна.

— Рыбка в озере. Много.

— А ты ловила?

— Ну как же. И в озере и в реках. На Укме, на Кере, на Малой Кирице. В Свиди ловила.

Веселая и стремительная, она сновала от стола к печи и все рассказывала об озере, о рыбе, о том, как однажды они с братом Михайлой попали в шторм.

«Она хорошо умеет рассказывать», — подумал Аверьян.

Он стал чаще заглядывать в столовую.

Настасья была неизменно приветлива, все у нее горело в руках.

Иногда она спрашивала:

— Сегодня какой дорогой пойдешь?

— Полем.

Вечером он шел домой, и Настасья догоняла его за банями.

Однажды Аверьян пришел в столовую и застал там одну Устинью. В светлой тишине избы уютно тикали ходики, пахло горячим хлебом. Вымытая посуда была аккуратно расставлена по полочкам. На столе сияла чистая скатерть. Все было в порядке. О делах можно было переговорить с помощницей Настасьи и, не задерживаясь, уйти. Аверьян сделал это неохотно, пошел в поле и старался отыскать причины, по которым выходило бы, что видеть Настасью надо обязательно, но не нашел их.

Это озадачило и испугало его. Он пробовал думать о другом, с беззаботным видом смотрел

на стаю уток, поднявшихся с реки, следил за голубым дымком выстрела над кустами и все думал: куда ушла Настасья?

Так он прошел все поле: разговаривал с бороновальщиками, помог Тимохе Валову направить плуги, курил с председателем Макаром Ивановичем.

Макар Иванович говорил о хорошей погоде, о том, что завтра «соху в тын». Отпахались дружно. Качество хорошее.

Аверьян слушал его, поддакивал и опять думал: сейчас она вернулась.

И не удержался, пошел в деревню.

Настасья мыла на крыльце посуду.

— Тебя-то мне и надо! — крикнула она. — Ведь сегодня последний день. Я должна отчитаться.

И пошла впереди него в избу.

Аверьян шагнул через порог, сразу почувствовал, что Устиньи нет, и ослеп от полумрака, тишины и волнения.

— Напекло? — шепнула Настасья, видя, как он шурится и шарит по стене рукой.

Ушла за переборку, шелестела там бумагами.

— Аверьян?

— Что?

Она помолчала.

— Так. Погода хорошая...

Настасья вышла к нему и положила на стол ворох записочек, синюю тетрадку.

— Сейчас я тебе покажу.

Не глядя на нее, Аверьян сел за стол, сделал серьезное лицо, но чувствовал, что она видит его волнение и что в глазах ее смех.

Он обрадовался, когда пришла Устинья.

Весь остаток дня его не покидало ощущение огромной утраты. Он шатался по деревне, заходил в контору, но делать ничего не мог. Снова шел в поле, и всюду, где бы он ни был, это ощущение было с ним.

Так было и на второй день. И на третий.

Сам того не замечая, Аверьян следил за каждым ее шагом.

Вот она идет в поле. Походка ее легка и упруга. Он долго смотрит на ее синий платок. Теперь она одевается во все лучшее, и от ее рук часто пахнет дорогим мылом.

Устинья говорит ей:

— Разоделась. Ты, матушка, и так хороша. У тебя красота родовая.

И любит свою молодую подружку.

Веселая, внимательная и ласковая, она со всяким поговорит, у всякого умеет вызвать улыбку.

Вот они с Устиньей отправляются на реку с платьем. Проходя мимо конторы, Настасья подтягивается на носках и заглядывает в окно.

— Все сидит и сидит...

На стол к нему падает стебель крапивы. Слышится смех.

Вечером Устинья, встретив его, шепчет:

— Лесом идешь, а дров не видишь...

И быстро уходит.

Он ловит обрывки разговоров о Настасье.

Все, что касается ее, приобретает особую прелесть и значение. Ее дом, ее крыльцо с чистыми ступеньками, даже темный, наподобие домика патрубков на крыше. Все — платье, развешанное под окнами, поленница березовых дров,

щепки на завалинке, козлы, на которых пилят дрова, — все не такое, как у других. Весь быт этой избы с белыми окнами, еще мало известный ему, волнует. Кажется, там, около нее, происходит что-то очень большое, значительное.

Собаку Грома, лохматое, добродушное существо, он видит теперь с радостью, потому что Грома касались ее руки.

Проходя мимо ее свекрови, он волнуется: старуха два года живет с ней под одной крышей.

Он с завистью смотрит на всякого, кто, не стесняясь, может заходить в эту избу.

Утрами, до солнца, он стоит у себя в огороде и мучительно ждет, когда над крышей ее избы появится дым. Этот дым тоже особенный, с привкусом горелой бересты. Тогда он говорит себе: «Она живет, с ней ничего не случилось». За белыми окнами совершается то большое, таинственное, во что не дано ему проникнуть, но даже и так благословенна жизнь, потому что там, у себя, она думает о нем.

Потом ему становится страшно.

Когда еще было с ним такое?

Он вспомнил стишок, присланный им Марине из Красной Армии:

Когда я с вами расставался,
Заплакал горькою слезой... —

и десятки писем, сплошь усеянных восклицаниями и уверениями, от которых до сих пор стыдно.

«Письма я буду писать до тех пор, пока ты не скажешь, что довольно, и буду любить тебя, пока я жив...»

Куда бы ни шёл в то время, что бы ни делал, Марина всегда стояла перед глазами. И засыпая, он видел ее, неизъяснимо волнующую и милую во всем, даже в своих маленьких недостатках (Марина была немного ряба, криклива). И это продолжалось с год.

Да, тогда было так же. Потом как-то само собой вышло — он стал реже писать, не видел ее во сне. А вернувшись в деревню, в первую же встречу с ней не знал, о чем говорить.

— Ну, как живешь?

— Да ничего...

Марина смотрит на него, удивленная и испуганная.

Потом они, обнявшись, стоят в темных сениях, и снова Аверьян мучительно подыскивает слова.

Марина шепчет:

— За меня Тихон Федоров сватался.

— А! Ну и что ты?

Марина, обиженная, молчит.

— От ворот поворот Тихону, — пытается он сгладить неловкость. — Правильно... — И думает: «Что же мне с ней делать?»

Отстраняет от себя жаркое тело Марины и озабоченно говорит:

— Надо, знаешь ты, обязательно к сестре сходить. Потом опять увидимся.

Марина всюду встречается ему. Дома она плачет украдкой от матери. Подруги сообщают ей, где он бывает, с кем сидит.

На зимнего Николу Аверьян немного навеселе шел в избу Устиньи, где всегда собиралась молодежь. На крыльце дорогу ему загородила Марина.

— Чего долго не приходил?

В знакомом синем сарафане, в розовом платке с голубыми лапами, — совсем такая, какой встречал ее Аверьян раньше. Он молча распахнул полы полушубка. Марина крепко прижалась к нему и покорно пошла с ним в сарай, на сено.

На второй день он вспомнил это со стыдом и раскаянием, решил больше не встречаться с Мариной, но она сама всюду останавливала его, и из жалости к ней Аверьян стоял, говорил, обнимал ее в темных сенях.

Весной мать узнала, что Марина беременна. Она вышла в огород, где Марина белила холсты, и в движениях дочери заметила то, что может заметить только женщина. Не рассуждая, она бросилась к Марине и принялась ее бить. Сбежался народ...

Так пошел грех в семье Марины.

Из жалости и ради того, чтобы прикрыть этот грех, Аверьян женился на ней. Вскоре родилась Аленка. Общего между супругами ничего не было. В свободные часы Аверьян читал газеты, книги, ходил на охоту — жил своей собственной жизнью, совсем забывая о жене. Правда, несколько зим подряд он пытался заставить Марину посещать ликпункт, но ничего не добился. Марина не хотела учиться.

Она целыми днями могла болтать ни о чем. В это время круглое, неподвижное лицо ее оживало, глаза блестели. Она все забывала: заботы, семейные ссоры, усталость. Однажды, подметив в ней это, Аверьян весь день ходил злой. А после делал вид, что не замечает ее в кругу баб.

Так создалась привычка жить, привычка друг к другу, к дому, в котором накопились сотни родных мест, уголков, вещей.

Родился сын Костя. Потом Гришка. Иногда, запоздав в лесу, Аверьян издали разыскивал огонек своей избы, и все в нем трепетало. Бесчисленные заботы и радости! Аленку приняли в пионеры. Средний уже читает по складам...

Но что же будет теперь?

Он прячется от людей, от солнца. В конторе завешивает газетой окно. Ему часто нездоровится. Он уносит работу на дом. Никто не знает, что с ним.

Дома тишина. В окна рвется молодая зелень березы. Он шелкает на счетах. Вдруг слышит в огороде голос Настасьи. Да, это она. Пришла к Марине за рассадой. Обе стоят у рассадника и беседуют.

Марина совсем еще молодая, но любит показать себя старше, опытнее, поэтому она во время разговора даже щеку подпирает совсем так, как это делают пожилые бабы, понимающе кивает головой и причмокивает.

— Вот какое дело-то, матушка. А ты бы сама поехала, разузнала.

— Ну его. Я на него сердита.

Марина чмокает. В такие минуты она кажется Аверьяну смешной и глупой.

— Спасибо, — говорит Настасья и наклоняется к корзине с рассадой.

Аверьян встает. Быстро и бесшумно выходит на улицу и начинает перебирать приставленные к стене двора жерди. Увидав его, Настасья кивает Марине:

— Твой-то обедать пришел. Корми! — и неспеша идет мимо двора.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

Они смотрят друг на друга. Настасья улыбается одними глазами.

— Слышно, чего-то валяешься. Собачья старость... Кряхтея. Хриплея...

Она тихонько смеется.

— У меня свекровушка заговоры знает. Хочешь пришло? Поможет...

— Как бы совсем не залечила, — невесело отшучивается Аверьян.

— Ну, как знаешь...

Она идет к дороге, четко выбивая шаг и слегка раскачиваясь на ходу.

Глава третья

После работы Марина часами сидит у окна. Иногда босиком, в одной рубашке выходит в сени.

Ночи нет. Вечерняя заря смыкается с утренней. В тишине все полно сияния. В дальних озимях виден большой белый камень. Можно сосчитать каждую бороздку. Вправо, за оврагом — костры ночного, ребятишки около них, поодаль в логу — кони.

Раньше в ночное приходили взрослые ребята и девушки. Плясали у костров под гармошку, расходились парами по полю. Приходили и Марина с Аверьяном. Сидели на меже... Как давно это было! Теперь он почему-то мало бывает дома. Неужели столько дел? Нет, тут что-то

другое. Все молчит. Худеет. Глаза у него ввалились. Иногда он просто страшен.

Марина с тревогой посматривает на деревню. В конторе открыто окно, — сидит...

Вот, наконец, он показывается на крыльце. Марина приставляет к воротам кол, спешит в избу и вскоре выходит на стук.

Оба двигаются по избе, как тени, стараясь не разбудить ребятишек. Отец наклоняется и прикрывает младшего, Гришку, от мух.

— Принести молока?

— Все равно.

Он ест медленно, вяло, смотрит перед собой немигающими глазами.

Марина стоит у стола, поджав на груди руки. До чего она безобразна в таком виде! У него пропадает аппетит.

— Ты бы села. И так выросла.

— Ничего. Я вот уберу посуду.

И снова стоит.

— Какой-то служащий был. Тебя спрашивал. Высокий, не сказать плотный, звать Николай, по батюшке забыла как. В контору не пошел. Едет к озеру.

— Это агент Охотсоюза. Все равно у меня в этом году ничего нет. Служба связала.

— Заработался ты совсем. С лица спал. Обрезался, обострился...

Аверьян молчит.

Она убирает со стола, ложится и вскоре засыпает.

Аверьян лежит на спине, положив руки под голову. Должно быть, около часу ночи. В окно видно слабое мерцание звезд. Слышится мягкое постукивание водяной мельницы.

В такие ночи хорошо идти по тихой лесной тропе к озеру. Мирно бежит впереди собака. За плечами поскрипывает берестяной пестерь с хлебом, с картошкой, со старым огрызком-ножиком и рыболовными крючками. Вот светлый бор. Верхушки сосен обиты глухарями. Вот Согра. Кривая, кремнистая ель, серая березка. На кочках темные пятна прошлогодней клюквы. Вот и старая охотничья изба без окон, с черным блестящим дымолоком. Трава вокруг еще никем не примята. Роса. На потолке избы пучок лучины, припрятанный с осени.

Хорошо сидеть у пылающего очага, плести сосновые корзины, прислушиваться к крикам гагар и кукушки. А днем, когда котелок полон упругими черными окунями, лежать в темноте избы на нарах и дремать под гудение слепней.

...И вдруг все это меркнет. Все, к чему прикасался с благоговейной дрожью, что при одной мысли вызывало восторг, кажется навсегда утраченным, и ты со страхом проходишь мимо. И хотя попрежнему в доме: теплый свет, уютное шипение самовара, домовитость лавок, привычные голоса и та же береза стоит под окном и попрежнему, выходя на крыльцо, ты видишь пашни и луга с темными пятнами теней и впадин, и людей, с которыми давно сроднился на общем деле, — но сердце твое не испытывает трепета.

Все это кажется виденным очень давно, может быть, в младенчестве, когда впервые пробудилось сознание.

Всюду, всегда и во всем — одно. Вещи, солнце, воздух, деревья, травы — все напоминает только о ней, за всем стоит только одна она...

Аверьян открывает глаза. В упор на него смотрит с полатей Аленка.

Он вздрагивает от неожиданности.

— Ты почему не спишь?

— А сам!

— У меня забот много.

— Каких?

— Ну, каких, о колхозе, о вас. Мало ли еще что? Вырастешь большая, все будешь знать.

Лежат молча. Марина ворочается спростонок и стонет. (Последнее время ей снятся какие-то нелепые, страшные сны.)

Он будит ее.

— Спать не даешь. Повернись на бок.

Лицо у Марины испуганное и глупое. Она начинает почесываться, что-то бормочет, снова засыпает и опять стонет.

Несколько минут он сидит на краю постели.

— Так, так, Аленушка, скоро экзамен?

— Да.

— Не страшно?

— Нет.

Он ложится, прикрывается наглухо одеялом и попрежнему чувствует, что Аленка смотрит на него.

Утром он пробует поболтать с Аленкой.

— Как эти трое, с Бора, слушаются Константина Петровича?

— Теперь слушаются.

Сидят за чаем. Самовар на столе — пылающим костром. Все от него щурятся.

— Жаркое будет лето, — говорит Марина. — Сказывают, к сенокосу-то экспортники сулятся. Гришка Конопатчик, Вавила...

— Что ж, и время.

Аверьян не смотрит на жену. Дует в блюдец. На дне блюда колыхается солнечное пятно.

Сегодня выходной. Днем Аверьян подправлял у себя в огороде картофельную яму, пилил с Аленкой дрова. Вечером он сказал Аленке, что нужно получить кое с кого деньги за облигации, и пошел по деревне.

Он заглянул в две-три избы. У палисада Настасьи немного задержался, потом быстро прошел на крыльцо.

Настасья стояла среди избы с ведром в руке.

— Пошла в завод, — сказала она, посмотрела на свекровь и велела ей с ребенком идти спать.

Старуха послушно ушла в сарай. Слышно было, как скрипнули ворота, загремели половицы, опускаясь на покривившихся балках.

— Скоро косить, — сказала Настасья, смотря в сторону.

— Да.

Помолчали.

— Ведро-то поставь. Успеешь...

Настасья поставила ведро и хотела сесть на переднюю лавку.

— Садись поближе...

Она посмотрела в окна, села с ним рядом, навалилась на стол и закрыла лицо руками.

— А вдруг кто придет?..

— Никто не придет...

В это время дверь в избу распахнулась и с криком: «Вот я и пришла!» — заскочила Аленка.

Настасья быстро поднялась, подошла к шкафу и стала там что-то искать.

— Сейчас скажу маме! — кричала Аленка. — У тебя уж дочка вот такая, а ты гулять.

Ничего не говоря, он взял Аленку за руку и повел из избы. Она замолчала, но когда вышла в поле, снова принялась ругать его и грозила рассказать все матери.

— Мы с тобой жить не будем. Отделимся. Иди к своей Настасье. Больше не ходи к нам.

И тихонько плакала.

Он шел сзади, опустив голову, и не мог говорить от стыда, отчаяния и боли.

Перед самым домом Аленка притихла и только в огороде сердито прошептала:

— А маме все равно скажу.

Зашли в избу. Аверьян сел к столу и стал ждать, когда она начнет рассказывать матери. Теперь было как-то все равно. Казалось, хуже того, что есть, уже не будет.

Однако Аленка ничего не сказала, и он понял: пожалела его.

Глава четвертая

У Марины болит голова. Она сидит на лавке и тихонько охает. Приходит Павла Евшина, маленькая, круглая, с хитрыми заленоватыми глазами.

Павле что-то нужно. Стараясь попасть в тон хозяйке, она тоже охает.

Так они сидят с минуту. Потом Павла говорит:

— Ох, ох, не нужна ли тебе курица?

— Ох, ох, какая у тебя?

— Ох, ох, белая. Кладистая, урядная, хорошая.

— Ох, ох, белую-то масть я не люблю.

Молчание.

Марина: А может, она не совсем белая?

Павла: Не совсем, не совсем. Рябеньякая.

Марина: Рябь-то какая? Серая?

Павла: Серая, серая.

Марина: А может, с желтинкой?

Павла: Так, так, так. Не белая, не серая, а рябая с желтинкой.

Аверьян только что принес из лесу две стойки для кос. Сидит у стола и ждет обеда.

Зной. Павла обливается потом.

Разговору их нет конца. Это становится невыносимым.

— Как вам не надоест? — сердито говорит Аверьян.

Обе переглядываются. Павла колобочком катится к двери. Идет за ней и Марина. Там они продолжают разговор. Дверь не закрыта. Аверьяну все слышно.

Павла: Борода кустиком черная и ус черный. Я вышла, а он с крыльца, и пошел через дорогу. В руке что-то болтается. Она его к себе в горницу пускала.

Молчание.

Марина: Это агент Охотсоюза. Он и к нам заходил. Известно, все по делу.

Павла (шопотом): А ты, матушка, не защищай. Все ходят и твой был.

Марина охает.

Павла: Матушка, задумают — нам не удержат.

жать. Твой-то давно ходит. Всея деревне известно.

Из-за угла появляется Аленка, и они замолкают.

С наступлением сенокоса Аверьян ушел с бригадой в лесное урочище «Высокая грива». Там в шалашах и спали. Иногда косили ночами, по росе. Спасаясь от комаров, жгли на кострах можжевельник. Днем, в самый зной, отлеживались в сенных сараях, в кустах. Там и тут слышался девичий визг, смех. Иные из молодежи уходили по ягоды.

Подростки приносили в лес еду.

Вместе с другими приходила и Аленка. За это время она повзрослела, стала серьезной, задумчивой, ходила с матерью на ближние покосы.

Разговаривая с Аленкой, Аверьян не смотрел ей в глаза.

— Значит, дочка, на будущий год в шестой?

— В шестой,—также не глядя на него, говорила Аленка.

Тон взят фальшивый. Разговор обрывается.

— Так, так, Аленушка. Газета-то приходит? Что там нового?

— С полюса прилетели.

— О! Все?

— Мазурук остался на Рудольфе...

Глаза Аверьяна блестят.

— А ты мне на следующий раз принеси газетку.

Потом он думает, что бы такое сказать Марине? Но ничего придумать не может.

— Ну, вот, иди. Я тебя провожу до просеки.

Идут узкой тропкой. Чаща. Сучья свисают до самой земли. Все густо затянуто мхами. Под ногой хрустят старые шишки.

— Боровские тоже все трое перешли в шестой?

— Их теперь двое. Один утонул.

— Вот что...

Поперек просеки золотым мостом лежат солнечные полосы. Впереди кричат ребята.

— Ну, вот, догоняй! Потяжись платком-то, комары съедят. За ягодами не сворачивай, заблудишься.

Сверкая босыми пятками, Аленка бежит по просеке, не обертываясь и ничего не сказав ему на прощанье.

Как-то на восходе солнца лес около Высокой гривы наполнился певучими женскими голосами. Ауканье. Смех. Кто-то барабанит по сухому дереву палкой.

— Аню-ю-та!

— Варва-а-ара-а!

В бригаде волнение. Девчата одна за другой исчезают в лесу.

Неожиданно из кустов, у которых косит Аверьян, выглядывает доброе, загорелое лицо Устиньи. На плече у нее коса. В правой руке корзина, прикрытая вышитым полотенцем.

— Глухой, что ли? Пошарь около той осины...

Устинья не успевает скрыться, ее замечает Павла Евшина, работающая поблизости.

— Ой, матушки, — кричит она, — мы тут совсем одичали. Ну, что в деревне-то?

Они принимаются разговаривать. Павла обра-

щается то к Устинье, то к Аверьяну. Расспрашивает, кто в той бригаде, рассказывает о своих.

Голоса удаляются. Устинья спешит.

— Ну, счастливо вам оставаться, — говорит она. — Иду, а то все дороги заросли, не сыщешь... — и, окинув Павлу быстрым злым взглядом, уходит.

Забираются дальше и дальше. Косят урочище «Синие лучки».

Теперь еду приносят по очереди молодые ребята. Аверьян не видит даже Аленки. Тоскует о ней. Вспоминает, как прошлый год, будучи на железной дороге, получил письмо. Аленка под диктовку матери писала.

«Чорт тебя знает, умер ли, женился ли, чего не пишешь? Пиши».

В праздники Аленка на пару с отцом пляшет. Она достает белый платок и помахивает им.

Бабы не могут нахвалиться.

— Ай, девка. Молодец. Смотри — как на винтах.

— Стрекоза. В кого такая зародилась?

— Не в ма-а-ать. Той-то так не смыслить, вся в батюшку родимого... С ней говори обо всем.

— Видишь ли, дочка, есть много такого, о чем ты узнаешь после.

В веселых глазах Аленки нетерпение.

— Ты все от меня хочешь скрыть, а я уж давно большая...

Дня выхода из леса Аверьян ждет со страхом, и когда этот день настает, бежит впереди, вместе с молодежью.

Вечером, у маслодельного завода, он видит Устинью. Подходит к ней с тайным страхом. Сейчас Устинья скажет: «Неловок. Славы много, а дела нет. Надоело...»

Устинья улыбается ему навстречу:

— Жаждались тебя тут. Все глазки проглядели...

Больше она не успевает ничего сказать, подходят другие.

Аверьян шагает домой и не видит дороги. Натыкается на чей-то палисад. Только что прошел дождь, мокрые сучья хлещут по лицу. Пахнет черемухой и плесенью старой изгороди.

На второй день Устинья неожиданно сообщила ему:

— Муж приехал. Довольно вам шутки шутить. Хлопал ушами, теперь на себя пеняй.

Она сказала это просто, как о чем-то мало-значительном, но непреложном.

— Больше и не гляди и не думай, и ее не смущай. Была коту масленица.

И совсем уже серьезно заговорила о работе, о том, что завтра к большой реке косить. Вся деревня вместе. Вот будет весело!

Глава пятая

Вечером Вавила сидел с мужиками на бревнах. Он был в новой голубой рубаше, на ногах какие-то чудные желтые туфли, легкие и тонкие, как пергамент.

Аверьян проходил мимо и слышал его рассказ о дорожных курсах. Курсы он закончил.

С этой специальностью мог бы теперь работать в районе, но из деревни никуда не пойдет.

«Хвастает», — подумал Аверьян. Подошел к бревнам и протянул ему руку.

Все притихли. Кое-кто отвернулся.

Аверьян смотрел поверх головы Вавилы.

— Новостей привез короб?

— Да-а-а.

Вавила был немного скуласт. Живые серые глаза сидели глубоко. Бороду он теперь не брил, а подстригал, поэтому казался совсем незнакомым.

Аверьяну очень не хотелось садиться с ним рядом, но уйти сразу было неудобно: не видались больше полугода.

Он опустился на бревно.

— Что ж, теперь можешь шоссе строить?

— С мастером могу, а так еще нет. Нужна практика. Ну, как вы тут?

— Да работаем.

Оба замолчали.

Пролетел майский жук и ударился в козырек чьей-то фуражки.

От леса шло стадо. С боков два подростка в белых рубахах то появлялись, то снова исчезали в пыли.

— Земля помощи просит, — сказал Иван Корятов.

К нему пристали, заговорили о жарком лете.

Аверьян незаметно ушел.

Настасью он встретил через несколько дней, в маслодельном заводе. Столкнулись в сенях. Она посмотрела на него просто, без тени сму-

щения, и улыбнулась так, как улыбнулась бы всякому.

Он немного задержал ее у двери и спросил:

— Ты какой дорогой пойдешь?

— Деревней, вместе со всеми, — строго, без улыбки ответила Настасья.

Потом шутливо добавила:

— Дальние проводы — лишние слезы...

Зашла в завод и стала разговаривать с женщинами как ни в чем не бывало.

Он тоже зашел туда, как во сне вылил в мерное ведро молоко, пробрался к стенке и стал молча рассматривать в пробирку пробу.

Женщины не успевали наговориться. И Настасья была такая же, как все: много рассказывала, умела во-время подковырнуть и пожалеть, казалось, с приездом мужа у нее ничего не изменилось.

Он заметил, что теперь Устинья и Павла Евшина очень дружны. Настасья относилась к ним одинаково хорошо. Все они держались вместе. Рассуждали о молодежи, о том, что в этом году много будет свадеб. Устинья вспомнила прежнюю бабью жизнь. Рассказывала она громко, изредка косилась в сторону Аверьяна.

— Вот на вечере один парень меня в уголок зовет. Иду. «Меня кто-то звал?» — «Я». — «Да ты чей есть-то?» — «И я тебя не знаю, ты чья?» Сказалась. Захватил меня. Познакомились. Парень хороший. Брови черные, глаза карие...

Устинью обступили тесно бабы. Понимающе кивали головами, улыбались.

— Ладно. Стал мне этот парень поклоны слать. «Ты мне любя. Я тебя жалею»... Замуж зовет. Согласна. Только подождем до весны?

Подождем. Пришла весна, а его на другой и женили...

Кто-то в толпе молодых баб охнул.

— Вот снова в Липнике встретились, — продолжала Устинья. — Мы с девками идем, а он идет. — «Можно с вами-то?» — «Вставай». Встал в середку. «Гляди-ко, Устинья, я женился!» — «Женился, так и живешь». — «А ведь мне только тебя и жаль. Приневолители!» — «Ну, мне делать нечего»... Вот так и говорим, как бы на шутку. Еще раз встретила. Шли с девками на ярмарку. И он туда. Кушаком подпоясан. С бородкой. Шапку снял, поклонился. «Что меня с собой не принимаете?» — «Нет, мы теперь тебя уж стали забывать». Подошел. Опять встал рядом. «Ой, Устинья, что мне сегодня приснилось!» — «А чего?» — «Будто я тебя замуж взял». — «Что же делать? Теперь не поправишь!..»

— Это бы сейчас! — вставила Нефедова молодуха. Ей никто не ответил.

— Ну, хорошо, — продолжала Устинья. — Жена идет. Куколка. Маленькая, некрасивая. Увела... Больше я его не видела. Говорят, и жил с ней нехорошо, пил, уходил в люди. Под конец будто бы и бить стал, совсем смотался. Парня звали Егором...

— Ой, худо, когда не любя женятся, — сказала Павла.

И, повздыхав, добавила:

— Дурак, что он смотрел? Где глаза были!

— Да вот, поди, — печально улыбнулась Устинья. — Молод был, глуп, а за него родители подумали.

Они начали говорить громко, разом. На-

стасья стояла молча и невесело смотрела в сторону.

Аверьян ушел.

В этот вечер он видел Настасью еще раз. Она шла с реки.

Аверьян направился к гумнам, мимо которых тянулась тропка, и сел на камень. Настасья подошла совсем близко, на мгновение задержалась и, ничего не говоря, быстро, так что расплескала из ведра воду, повернула в обход, к большой дороге. Он сидел и смотрел ей вслед.

Сзади послышался шелест травы. Аверьян обернулся и увидел Марину, растрепанную, с неподвижным бледным лицом, в маленьких зеленоватых глазах страх и злорадия.

Марина остановилась в нескольких шагах от него и, заикаясь, проговорила:

— Сейчас уж сама видела. Не скроешь.

Руки у нее дрожали. Из рта брызгала слюна. Он никогда еще не видел в ней такой злобы.

— Иди, иди домой-то, — заглушая отвращение к ней, сказал Аверьян.

— Нет! — крикнула Марина. — Не пойду! Пускай вся деревня знает.

Он быстро поднялся и пошел лугами к реке. Марина следовала сзади и кричала на все поле:

— Ты от меня не уйдешь, не скроешься! Я тебя под землей сыщу!

Из огородов, с крылец изб смотрели люди. Аверьян шел как под ударами, низко склонив голову, не оглядываясь. На берегу он лег в густую высокую траву и закрыл лицо руками.

Марина сидела в стороне и тихонько плакала.

Говорили, что теперь у Настасьи с мужем нелады. Однако в избе Вавила всегда было тихо. При людях Вавила всегда звал жену Настасьей. Однажды видели, как они в обнимку шли с реки.

Вавила что-то рассказывал, а Настасья звонко смеялась и толкала его рукой в плечо.

С покосом перебрались к самой деревне, за поле. Обедать ходили домой.

Как-то две бригады, по пути на работу, столкнулись у гумен. Мужики пошли впереди. Курили, степенно, со вкусом, обсуждали текущие дела, прислушивались к говору женщин и снисходительно улыбались.

— Это, Вавила, твоя кричит.

— Да, его такая голосистая.

— Вот и Марина сказалась...

Аверьян и Вавила делали вид, что ничего не слышат, шагали один с краю, другой — с другого.

Вдруг крики участились, перешли в брань. Мужики смущенно замолчали. Кто-то из молодых принялся насвистывать.

— Нехорошо... — сказал Иван Кoryтов.

Аверьян обернулся и увидел растрепанную голову жены. Марину держали за руки.

Настасья, низко нагнув голову, шагала в стороне и поправляла платок.

Вавила не обернулся и ничего не сказал.

Председатель Макар Иванович, шагавший впереди, что-то говорил о товарищеском суде.

Все обрадовались, когда подошли к сенному сараю и взяли грабли.

С этого дня Аверьян и Вавила при встрече

не смотрели в глаза друг другу. Потом они стали избегать встреч.

Прошло лето. Лес наполнился разноцветным сиянием осин. Осины появлялись неожиданно, во всех уголках, там, где, казалось, их вовсе не было. Они зажгли и осветили лес со всех сторон. Запахло грибами, размытыми почвами и перезревшими ягодами. Особенно хорош был лес по краю старых вырубок, с высохшими там и тут вершинами, на которые любили садиться тетерки.

Аверьян с крыльца услышал бодрый собачий лай на опушке леса и уловил отдаленные запахи молодых сосновых вершин.

День был гулкий, солнечный. Куда-то пролетела стая журавлей.

Он забежал в избу, схватил ружье, кликнул собаку и, не одеваясь, пошел в лес.

Собака шла неохотно. Все подвизгивала. Она только что оценилась. Щенков пришлось отнять и убить. В лесу она постепенно разошлась, скрылась в стороне, и вскоре Аверьян услышал лай: частый, однотонный и грубый — на глухаря. Осторожно, выбирая густой лес, Аверьян пошел. Удивительное дело! Двадцатая осень в лесу, а перед первой встречей с глухарем все так же стучит сердце.

Аверьян осматривал вершины. Конечно, он еще не вылетел на сосну.

Между стволами мелькнул желтый пушистый хвост. Собака перебегала с места на место, непрерывно лаяла и зорко смотрела вверх. Она давно заметила хозяина, но в его сторону не поворачивалась.

Теперь он видит всю багряную вершину дерева, широкую, с толстыми кривыми сучьями. В листве черным клубом застыл глухарь.

Аверьян делает несколько неслышных шагов и медленно поднимает ружье. Вот на мушке светлая зелень молодой рябинки, голубое небо, огненные листья осины.

Гремит выстрел. С шумом и треском глухарь проваливается в листву. Хвост собаки мелькает около ствола осины. Слышится возня, урчание.

Он продувает ружье и крупными прыжками бежит к собаке.

— Зорька, брось! Брось, тебе говорят, старая!

Глухарь, вытянув шею, лежит на траве. На большом желтом клюве пятна зелени. Глаза прикрыты. Краснеет бровь.

Аверьян рассматривает добычу и в это время обо всем забывает.

Глава шестая

Случилось то, чего он больше всего боялся. Однажды, гоняясь за белкой, запоздал и пошел к озеру в охотничью избушку. Уставшая Зорька лениво переваливалась сзади.

Совсем близко от озера на дорогу выбежал Гром.

Аверьян остановился, не зная, что делать. Начиало смеркаться.

Все решили — собаки. Они побежали вперед и быстро скрылись за деревьями. Теперь отступать было неудобно. Аверьян стал проби-

раться зарослями пырея к озеру. Вскоре влево показались вода, темный мыс, рядом — узкой полоской плот и на нем Вавила с шестом в руках.

Избушка стояла на холме, в осинової роще. Влево, за ложиной, чернел густой еловый лес, кончавшийся у самой воды.

Дверь избушки была открыта. За нею по черным стенам трепетали желтые пятна света. Слышалось потрескивание, валил дым.

Аверьян снял с плеча сумку, ружье, бросил к стене топор.

Вавила подходил не спеша. В одной руке он нес котелок, в другой — удилище.

— А, кто-то есть!

Аверьян повернулся, но ничего не ответил.

— Здорово.

— Здорово...

Вавила поставил котелок на землю и стал выжимать мокрые брюки.

— Дров прибавить, что ли? — сказал он, поглядывая в лес. — Пришел поздно, не успел.

— Где бродил?

— Весь день провозились мы с Громом у барсучьих ям.

— То-то выстрела не слышно было.

Они идут в еловый лес. Здесь совсем уже темно. На черной земле, невидимая, шуршит трава. Сквозь сучья видны звезды.

Находят сушину. Аверьян ударяет обухом. Сушина гудит колоколом. Правда, она немного толста, но сейчас ничего другого не сыщешь. Нащупывают и обрубают ветки, верхинки кустов. Потом рубят вдруг с двух сторон, стараясь попадать в такт.

Этот гул, вероятно, очень далеко слышен. Эхо разносится по озеру.

— Как кость, — говорит Вавила.

В темноте видна белая заруба. От нее и от щепок, раскидавшихся под ногами, кажется светлее.

Дерево падает к озеру. Они обрубают сучья и от вершины дерева видят воду, зажженную множеством звезд.

— Темная ночь, — говорит Вавила.

— Да.

Рубят ощупью. Опять помогает свет белых зарубок. Нужно только скovyрнуть первую щепу.

Под комлевой кряж встает Вавила. Он кряхтит в темноте и плюет на руки. Идут, Вавила двигается пошатываясь, в одном месте падает: слышно, как треста шуршит по сухому дереву.

— Не расшибся?

— Кажется, нет. Только топор потерял. О! Нашел.

Потом оба, разгоряченные, сидят у пылающей каменки. На таганке висит котелок со свежими окунями.

Дверь открыта настежь.

Вавила начинает строгать из куска ольхи ложку.

— Чорт; ложку не взял.

Он не говорит: «Жена забыла положить».

— Что-то охотники сюда совсем не ходят, — не отвечая ему, говорит Аверьян.

— А где они? Старики Лавер да Онисим на своих путиках. Они сюда не пойдут, Манос в лесопункте.

«Да, мы тут двое, во всем старосельском лесу...» — думает Аверьян и торопливо говорит:

— Сказывают, раньше в нашей деревне много охотников было.

— Много. Ружья шомпольные. Ключки... Особенно славился Мамыря. Фузея у него. Дроби, говорят, клал четверть фунта, пороху девять мерок. Выстрелит — куча веток свалится, белку ищи в ней...

Оба смеются.

Очень далеко, по другую сторону озера, слышно гуденье дерева.

Аверьян выглядывает в дверь.

— В Вожге коней пасут...

Потом он выходит из избушки. Стоит, потягиваясь, и смотрит, как падают звезды.

Вавила сосредоточенно строгаёт розовое дерево. Он, кажется, целиком занят только этим.

Поспевает уха. Он снимает ее и ставит на стол.

— Ну, начнем.

Садятся к столу. Вавила режет большой ломь хлеба. Хлеб мягкий, пышный, запах его раздражает Аверьяна. Он роется в своей корзине.

— Чорт его знает, поторопил жену, хлеб не допекла... — и смущенно вынимает тяжелую, неровную краюшку.

— А ты моего? У меня много.

— Нет, нет. Взял, съесть надо. Завтра в какую сторону?

— Думаю на Борки.

— А! Ну, я похожу около Высокой гривы.

Снова молчат. Преувеличенно старательно

дуют в ложки, пережидают друг друга. У Вавилы ложка похожа на лопату.

— Не знаю, по-моему, неправильно поступает сельсовет, — говорит Аверьян. — Избирательные списки готовить взвалили на одних колхозных счетоводов.

— Неправильно. Вот уж послезавтра на пленуме об этом поговорим.

Соль у Вавилы завязана в кончике синего платка. Аверьян старается не смотреть на этот платок. Потом он видит на гимнастерке Вавилы свежесаженную заплату, черные пуговицы, пришитые суровыми нитками, и много других мелочей, в которых чувствуется рука Настасьи.

И сейчас он понимает, что ни на минуту не забывал ее. И то, что до сих пор им делалось, делалось только ради нее, и даже в лесу он — ради нее. Может быть, долго не видя, она стоскуется и снова накажет с Устиньей: «Заждалась. Все глаза проглядела...»

Но в том, как Настасья ведет себя с ним, кажется, этого уже нет, как не было и у него к Марине, когда вернулся из Красной Армии. Молодая, здоровая. Одна да одна. Все прошло с приездом мужа...

— А ты ешь, — мягко говорит Аверьяну Вавила и наклоняет к нему котелок.

Аверьян покорно хлебает. Лицо у него горит.

А вдруг она попржежнему думает о нем? Может быть, Вавила держит ее угрозами? Она боится его?..

Аверьян кладет ложку, убирает корзину и стоит у порога.

— Топоры и ружья надо занести, — говорит Вавила.

— Пожалуй.

Они приносят топоры и ружья. Вавила сламывает свое и вставляет патроны с пулями.

Аверьян тоже сламывает свою одностволку и сует патрон с пулей. Руки у него дрожат.

— Так-то лучше, — говорит Вавила. — Осенняя ночь. Мало ли что...

Они ставят ружья к стенке, рядом с нарами.

Вавила раскидывает на нарах сухую траву, мох, постилает сверху толстовку, завертывает сапоги в брюки и кладет их в изголовье.

Стелет себе и Аверьян. Нары узкие и длинные, можно ложиться ногами друг к другу. Аверьян переносит в свой угол ружье. Потом достает с грядки сосновую лучину, зажигает ее у потухающей каменки, втыкает в паз и садится на порог курить.

Вавила тоже курит, сидя на нарах. На этот раз молчание особенно длительно и тягостно.

Сегодня удивительно тихо. Даже не слышно осин. Изредка стукнет по стене листок, мелькнет перед дверью и исчезнет. Тонкая, с серебряным блеском лучина горит быстро, широким белым пламенем, шипит и дымит. Аверьян то и дело обламывает угли и бросает их в каменку.

«Но даже если она думает о нем, что из этого?» — спрашивает себя Аверьян.

Он вспоминает обезображенное злобное лицо

Марины, враждебные взгляды Аленки, слезы... грех... и с отчаянием сам себе отвечает:

«Ничего!»

Гаснет огонь. Вавила приподымается и смотрит на порог. Аверьян сидит отвернувшись, согнув плечи.

В открытую дверь видно озеро, черный лес и звезды над ним.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава седьмая

На ночь в помещении сельсовета остаются счетовод Аверьян да старик сторож Онисим. Онисим не идет никуда, потому что он сторожит. Аверьян же с осени не живет в семье, скитается где попало.

В просторной, чистой избе хорошо пахнет только что вымытым полом, еловыми дровами. Тишина. Дом стоит на отлете — в Поповке, как в крепости: со стороны деревни Костиной горки он огражден большой осиновой рощей, со стороны Надпорожского поля — широким церковным зданием и амбарами. Вечерами сюда никто не ходит. Дорогу заметает снегом, и два человека в большом старом доме теряют связь с деревней. Они запирают ворота и начинают варить ужин. На улице гудит и воет. Из окна видно, как передвигаются на снегу тени осин.

— Занесет совсем, — говорит Онисим.

Аверьян думает о том, что вот сейчас в Старом селе, около его избы так же шумят и раскачиваются березы, на верхнем сарае стучат плохо прикрытые ворота и в темном углу, на сене вздыхает старая собака Зорька. В избе, за

столом тоже ужинают. Его уже не вспоминают, привыкли...

— А ты много не думай, — говорит Онисим. Аверьян молчит.

— Вон до чего дошло у раменского Ефима с Аксиньей. — продолжает старик. — Ему ведь говорили: «Отступи! Как чуть немного присохнешь — не отстать». И верно: иссох так — и сидеть не может — чес, вереда. Пошла по всему телу невзгода. На жену не смотрит. А ты из-за кого пошел шататься? Ясно — из-за Настасьи. В таких бабах сатана сидит!

— Да я теперь вовсе о ней не думаю!

Онисим недоверчиво смотрит на него.

— Так иди домой!

— И домой не пойду.

— Это оттого, что стали все больно самолюбивы. В другом вижу больше худого, чем в себе.

— А еще как?

— Еще? Двум дуракам не пожить, а умный да дурак уживутся.

Аверьян смеется.

— Бывает, что и все есть, а дело не клеится, — говорит он.

— Так это у вас называют: не сошлись характерами. Знаю. Палка обоим! Думай, что делаешь!

Сейчас и сам Онисим улыбается. Конечно, он понимает, что все это не так просто.

— А выход-то какой?..

Лицо Онисима сразу становится серьезным.

— Этого тебе не скажу.

Иногда, в середине вечера, когда кончен ужин и прочитана газета, а времени еще много,

Аверьян ложится в углу на лавку. Онисим плетет верши. На полу вороха прутьев. Он не торопясь выбирает их, пробует в руках и рассуждает про себя:

— Да. А по-моему этот наш старосельский Илья хоть и партийный, а сукин сын. Он кобылу посадил на ноги. Стала присеменовывать.

Аверьян не отвечает. Онисим снова начинает рассуждать сам с собой, постукивает по прутьям ножиком, наконец, тихонько поет:

Гришка-расстрижка, Отрепьев сын..

— А вот председатель — это человек. У него и походка с устигом. Макар Иванович, Макар Иванович! Другого ему имени нет. Да. Вот так. (Короткое молчание. Посвистывание.) Хоть бы куда-нибудь сходил!

— Верно, надо сходить по делу, — говорит Аверьян и встает.

Он накидывает полушубок и выходит на крыльцо. Метель. В роще гнутся деревья. Склонившись, он делает несколько шагов в глубоком снегу. Его сразу ослепляет, больно сечет лицо. Он с трудом нащупывает дорогу и медленно двигается от вешки к вешке. Впереди выплывает что-то большое и черное. Слышится храп. Потом совсем рядом морда лошади. В развалках белый, подвижной ком.

— Нно!

Все исчезает. Аверьян стоит, смотрит на трепетный огонек крайней избы и решает, что идти ему некуда и незачем. Он поворачивает назад, и ветер толкает его в спину. Ни следа полозьев, ни его следа уже не заметно.

В избе тепло. На полу желтый свет лампы.

Онисим подбирает обрезки и складывает их к печи.

— Не гостится? — спрашивает он. — Видно, ты гость не ко времени.

Потом сразу переводит разговор:

— Зайцы сегодня лежат под кустом.

— Да. В одиночку. Невесело...

Оба они заядлые охотники. У Онисима в лесу близ озера Данислова есть избушка. Маленькая, черная, без окон. Дверь — только человеку пробиться, вместо печи — очаг. Больше сорока лет осенью он живет в этой избушке. За ложиной, километрах в двух от него, на реке Укме обитает другой охотник — Лавер. Аверьян часто заглядывает к старикам.

Спать рано. Ночи конца нет. Аверьян сидит у окна и слушает, как гудит вьюга.

— Рассказал бы сказку, — просит он старика.

Онисим постилает себе на лежанке, гасит огонь, ложится и, не торопясь, рассказывает сказку.

— «В некотором царстве, в некотором государстве...»

Сначала Аверьян слушает с интересом. Он даже приподымается на локтях и смотрит в темноту ночи широко раскрытыми глазами.

Потом нить сказки обрывается, — все становится непонятным: Аверьян думает о другом...

Осенью 1938 года Аверьян встретился в лесу с незнакомым охотником из Шихановского сельсовета. Стояла сушь. Горели леса. Они стали искать реку Неменьгу, чтобы напиться, и заблудились. Пришлось ночевать под елкой. Утром, едва оторвались от потухшего костра, сразу нашли реку.

— Мне не так удивительно, — сказал шихановец, — я в этом лесу не бывал. А вот как же ты?

Аверьян был смущен. Не было еще случая, чтобы он заблудился в лесу.

— Не знаю, что со мной.

Охотник с сожалением рассматривал его.

Аверьян был очень худ, оборван, с утомленным лицом.

— Нездоровится? — спросил шихановец.

Аверьян махнул рукой.

— Хуже...

— Пьешь?

Аверьян не ответил.

— С чего бы это? — укоризненно сказал шихановец. — Такое ли время? Время тревожное.

Аверьян молчал.

Шихановец теребил небольшую рыжую бородку. Взгляд его был суров.

— Этак ты свою реку никогда не найдешь, — сказал он и ушел от Аверьяна.

Вскоре пожар охватил все Федорово болото, подобрался к Неменьгскому заводу. В лесу был пойман поджигатель. По этому же делу арестовали Аверьянова шурина, пьяницу Игнашенка.

После этого Аверьян бросил пить — как отрезал. Но это было еще не все...

— ...Начала она его искать везде: в море и в морской пучине, и по лесам, и по озерам, и по лугам, и в небесной высоте... Да ты не спишь, Аверьян?

— Нет, нет, рассказывай...

Дом так заносит, что утром им приходится вылезать в окно. Задрав бороду, Онисим смотрит на белый, ослепительно чистый холм, за которым должны находиться ворота.

— Мать честная, — говорит он. — Вот законопатило!

Они берут лопаты и принимаются раскидывать снег.

Всходит солнце. Земля лежит успокоенная. Ни ветра, ни шума вершин. Мягко синеют овраги.

Теперь до вечера у Аверьяна с Онисимом редкие деловые разговоры.

— Старик, чего это ты кричал там на старосельского Илью?

— Снег на ногах приносит.

Аверьян улыбается. Снег на валенках приносят многие, но Онисим этого не замечает. Старик не знает середины. Так, например, для председателя Макара Ивановича он находит оправдание даже в том случае, когда тот вопиюще несправедлив.

— Ты бы вот с самим-то поговорил, — советует он Аверьяну. — Перестанешь шататься-то.

Аверьян и сам присматривается к Макару Ивановичу. Два года тому назад он часто заходил к нему. Вместе читали газеты, обсуждали международные события. Во время выборов Аверьян был агитатором. Увлекался. Ночами после работы ходил в самую дальнюю деревню — Тимошкино. Потом он работал по все-союзной переписи. Все видели, как быстро вырастал человек.

И вдруг свихнулся — стал пить, пошел стороной.

Это сильно смутило Макара Ивановича, только что выбранного тогда секретарем партийной организации. Он несколько раз пытался заговорить с Аверьяном о его поведении. Аверьян отмалчивался.

Теперь Аверьян снова приходит к нему.

— Что это делается в колхозе «Восход»? — начинает Макар Иванович. — Председатель только что из Красной Армии, есть комсомольцы, а до сих пор в деревне числятся три единоличника!

Аверьян говорит:

— Мне надо завтра идти в Дор. Загляну к ним, узнаю, что и как?

— Вот, вот.

Аверьян начинает уходить по вечерам.

Онисим следит за ним с любопытством и надеждой.

В воскресенье Аверьян устраивает в старом гумне тир. За ним гурьбой ходят ребята. Теперь он все время с людьми, даже вечером. Посвежел. Взгляд у него стал яснее. Иногда ночует в дальних деревнях. Утром прибегает торопливый, озабоченный.

— Ну, дед, как ты тут один?

И заглядывает в комнату Макара Ивановича. Председатель уже на месте. У его ног лежит собака. На столе все прибрано, расставлено. Уютно белеет бумага.

Макар Иванович поглаживает темную бороду. Широко улыбается навстречу Аверьяну.

— Мне уже сказывали, — говорит он. — Остается один Иван Костин.

Обсуждают вчерашнее собрание на Дору.

Однажды Аверьян и Онисим просыпаются среди ночи от страшного шума и треска. Наскоро одевшись, выбегают из ворот и, в свете луны, видят громадный ворох раздробленного синего снега. Снег разом ополз со всего ската крыши и раздавил забор. Полные необъяснимой радости, они обходят вокруг дома. С черных краев крыши падает вода. В одном месте они видят черные концы гряд. У самой стены двора натываются на сухой бурьян. Нет, все в порядке. Ничего ценного вокруг дома не лежит: снег может оползнуть.

Они всходят на крыльцо и рассматривают тихие, пестрые деревни. Сколько сейчас начнется около каждого дома милых хлопот! Днем стены изб бывают теплыми от солнечных лучей, а в тени хорошо пахнет влажным снегом...

Они не могут спать всю ночь. Влажный воздух проникает в избу. Из-под пола начинает сильно пахнуть землей. Кот выходит подремать среди избы в полосе лунного света.

Утром Онисим зовет старика Ермошу с Лебежского хутора, и они вдвоем начинают разбирать поваленный забор. Ермоша глух. В помещении сельсовета слышно, как они, разговаривая, кричат. Люди проходят мимо и добродушно смеются над ними. Но оба старика довольны. Целый день проводят они на улице, суетятся, хлопчут и, когда забор весь разобран, долго ищут около дома: что бы еще сделать? Потом оба, полуслепые от солнца, приходят в избу, раздеваются, лезут на печь и там продолжают орать.

Ермоша начинает приходить каждый день.

И вскоре Аверьян видит, что старики подружались прочно. «Ну, вот и хорошо», — думает он.

Однажды, когда в половине Макара Ивановича идет партийное собрание, оба сидят за столом и по обыкновению беседуют.

Ермоша кивает на пустой Аверьянов стул:

— То же?

— Да. Приговаривают.

— Эй!

— Приговаривают!

Ермоша открывает рот, что служит у него признаком задумчивости.

— В руки бы его!

— Сам занялся. Может, дурь-то выбьет.

— Эй!

— Дурь-то, говорю, выбьет!

Из двери выглядывает Илья.

— Вы, старые, — кричит он, — мешаете работать!

Несколько минут старики сидят молча. Потом Онисим качает головой и вполголоса говорит:

— Не люблю, грешный человек, этого Ильи.

— Да уж, — понимающе машет рукой Ермоша, — только недругу можно пожелать такую жизнь.

Иногда Ермоша остается ночевать. Наговорившись вдоволь, старики затихают. Ермоша сразу же принимается храпеть. Спросонок вскрикивает:

— Эй! Ты мне?

— Да нет, нет. Лежи.

— Эй! Не спит? Гони к бабе!

Онисим не отвечает. Он лежит с открытыми глазами и настороженно следит за Аверьяном.

— Только идешь туда — не шали, — строго произносит он. — Хватит.

Аверьян поднимается от неожиданности.

— А ты почему знаешь?

— Стало быть знаю...

— Эй! — слышится с печи. — Нет, мне ничего, я под бока-то подкинул. Скоро свет? Не скоро?

— Нет, лежи!

Аверьян садится к окну. Луна смотрит прямо на него. Земля лежит пестрая, в теплых туманах. Молниями скрещиваются ручьи. В голых вершинах рощи тревожный шум.

Это решение Аверьян готовил давно. Мешала какая-то перегородочка: не то робость, не то нехватало надежд на свои силы.

Но вот настает момент, когда ты неизбежно должен ответить на вопрос: как дальше? Эта мысль с тобой всюду. Ты разворачиваешь газету и узнаешь, что боец решил это без колебаний за несколько минут перед боем. Ты видишь, как пришел к этому твой сосед — на два десятилетия старше тебя, как решают это десятки, сотни тысяч других людей, и сравниваешь себя с ними: твои мысли, твои поступки — все у тебя, кажется, такое, как у них...

Утром Аверьян смело входит к Макару Ивановичу. Макар Иванович, ждавший этого, выслушивает его внимательно. Потом спрашивает:

— Ты сейчас это решил?

— Нет, я об этом думал не один год.

Макар Иванович пристально смотрит на него.

— Так что же?

— Со мной никто об этом не говорил.

— Бывает и так, — тихо говорит Макар Иванович и склоняется к столу.

Аверьян начинает следить за собой: не сделал ли чего плохого? Иногда в этом доходит до крайностей.

Все это замечает Макар Иванович. Как-то, в начале лета, после шумного дня, он подходит к Аверьяну. В глазах лукавый блеск.

— Ну, как со сведениями?

— Старосельцы что-то никак не соберутся. Макар Иванович стучит по столу пальцами.

— Боюсь, как бы Проня не подвел с покомом. У него что ни день, то чудо. Пешком, — говорят, — теперь и не ходит, все в седле! Где-то сумку полевую достал...

Оба смеются. У председателя старосельского колхоза Маноса все время какие-нибудь чудачества. Одернут — начнет работать хорошо. Через педельку опять чем-нибудь увлечется.

— На пашню приедет, — говорит Макар Иванович: — «Ну, какие будут ко мне вопросы?» Если вопросов нет, лошадь стегнет и — обратно. Знаешь что, толковали мы тут и решили прикрепить тебя к Старому селу. Скажем, пойдешь ты в сенокосную группу Васьки Хромого и станешь там работать. Конечно, встретишься и с женой и с Настасьей. Придется другой раз и дома ночевать — не обойдешь свою деревню.

Макар Иванович сбоку пытливо поглядывает на Аверьяна.

— А почему знать, как лучше-то? Все равно когда-нибудь надо это дело решать!

Аверьян не отвечает.

— Нет, мы тебя не неволим, — говорит Макар Иванович. — Ты теперь — сам решай! Время уж наладить и эту сторону... Небось уж и годы. Под сорок-то есть?

— Да, есть...

— Не забывай. Теперь на тебя больше будут оглядываться.

Макар Иванович улыбается и ясно смотрит на Аверьяна.

Глава восьмая

Аверьян приходит домой как странник, робко осматривает высокий въезд, темную крышу над ним, темные ребра настила. Как покривились столбы! Он осторожно заходит в сарай. К нему навстречу медленно бредет собака.

— Ну, что, Зорька? Как ты тут?

В сарае полумрак. Пахнет свежими вениками. Он видит знакомые очертания вещей, их милую простоту и опрятность. Все — как всегда. Не заходя в избу, он опускается на сено у левой стены и лежит с открытыми глазами.

Марина появляется неожиданно, сразу замечает его и останавливается в середине сарая. В старом ситцевом платье, без платка. Она стоит отвернувшись, наклонив голову, видимо, все еще не хочет поверить, что он пришел и останется с ними.

Аверьяну становится жаль ее, но он боится показать это, мягко говорит:

— Сядь, посиди немного.

Она садится рядом с ним на сено.

На деревне совсем тихо. В окне, на задней стене — оранжевый квадрат света. В хмельнике поет соловей.

— Все валится, — говорит Аверьян.

Она машет рукой.

За эти два года они ни разу не смотрели в глаза друг другу. Марина постарела и как-то притихла.

— Письма от Аленки нет?

— Нет. В этом году, поди, и не приедет.

— Ну, отдохнуть-то все немного дадут.

Молчание.

У ворот начинает потягиваться и скулить собака.

— Скоро солнце взойдет, — говорит Аверьян. — Ночи нет совсем.

— Да уж какая ночь. Еще только прошли Петровки.

Она встает и выпускает собаку.

Аверьян тоже встает, выходит в ворота. Дом стоит на пригорке, в середине деревни. Отсюда широко видно. Вправо, за овсяным полем, над Модлонью лохматая полоса тумана. Деревни по берегам Модлони совсем скрыты в тумане. Кое-где виднеется крыша. Слева, из Раменского леса, подкрадывается к Модлони маленькая кривая речушка Аньга. На ней слышится ленивое постукивание, но ни мельницы, ни самой реки не видно — в тумане вся земля. Смутно виднеется в огороде отяжелевшая бледная трава. Аверьян идет в огород смотреть огурцы. Роса изливается с листьев ручейками.

Он ходит по меже и выбрасывает из травы камни, поднимает в хмельнике наклонившиеся колышки, подпирает в углу огорода старую ря-

бину. У него такой вид, как будто он никогда не отлучался.

Маринка что-то рассматривает на рассаднике.

— К вечеру-то затопить баню? — робко говорит она.

— Пожалуй...

Это похоже на настоящую семейную жизнь...

Он открывает отводок и придерживает его, пока Марина выходит из огорода. Когда она прислушивается к стуку мельницы, он тоже стоит поодаль и слушает.

— Немного тянет, — говорит она.

— Узелок-то как-нибудь размелем.

Молчат, оба думая об одном и том же.

— Конечно, лучше на себе, — говорит Аверьян. — Пока кругом объедешь — солнце взойдет.

Они кладут мешок с зерном поперек коромысла, так что он свешивается на обе стороны. Аверьян несет сзади. Мешок почти касается его груди. У Марины большой конец. Она шагает бодро, с поднятой головой, юбка высоко подоткнута, босые ноги розовеют от росы.

Собака бежит впереди. Она стара. Шея у нее наполовину седая. Аверьяну приходится кричать во всю глотку, чтобы заставить повернуть ее к реке, но она все бежит вперед и, когда они скрываются в хлебах, разыскивает по следу.

— Совсем оглохла Зорька, — говорит Аверьян.

— Да...

Река Аньга пересохла, заросла ситкой. Несколько молодых уток взлетают из травы.

Они переходят реку, не выбирая брода, и опускают ношу на песок, чтобы размять руки и плечи. Зорька лакает воду.

Светлынь. Под ногами видна каждая песчинка.

Марина стоит и поправляет кофту. Движения ее уверенны и спокойны.

— Можно перейти в переднюю избу, — полувопросом говорит она.

— Можно, там светлее.

Марина отвертывается, чтобы скрыть довольную улыбку.

На мельнице никого нет. Старик сторож Примак сидит у двери избушки на широком чурбане и плетет лапти.

— Ну, как, дед, выручишь? — спрашивает Аверьян.

— Не знаю. В лотках воды не больше как на три пальца.

Слышно, как вода падает с колеса на голые камни. Доски плотины наполовину сухи.

— Прибыли не ждешь?

— Откуда?

Примак показывает рукой на чистое небо, на туманы, на травы.

— Да...

— Положите сами на ковш, — делает неожиданный вывод Примак.

Они идут в мельничный амбар и поднимают мешок на ковш.

— До вечера, дедушка?

— Да уж, если что будет, так вечером.

В кустах за мельницей перепархивают синицы. Сейчас покажется солнце.

Они переезжают на плоту на свой берег и с подбегом идут по траве.

— Успеть бы до пастуха, — говорит Марина.

— Ничего, успеем...

Аверьян стал приучать себя к мысли о том, что он уже живет в семье, что это прочно, незыблемо. Он стал заранее отрезать себе путь в Костину горку: с покоса шел вместе с группой, иногда приглашал кого-нибудь к себе и долго сидел под березами у всех на виду. Люди проходили мимо, смотрели на него, на Марину, белеющую у окна, и думали, что в эту семью навсегда сошел мир и свет.

И с Настасьей все вышло хорошо, просто: на покосе они как бы не замечали друг друга. Как-то под вечер Аверьян пошел за кусты, прикурить от костра, и встретил здесь Настасью. Стоя на коленях, она завязывала корзину.

Аверьян быстро наклонился к огню. Уголек несколько раз падал у него из руки.

Молчали.

Настасья встала, повесила корзину на сук и долго прятала в нее бахрому полотенца. Потом пошла и посмотрела на Аверьяна чистым спокойным взглядом. Так смотрела бы она на всякого другого.

Аверьян опустил к костру и подумал: «Ну, вот, теперь нечего бояться...»

Ему не нравятся стоги в группе Васьки: широкие, низкие, с тупой овершкой, с припечками по бокам. Такие стоги до первого ливня: прольет. «Вот с этого и надо начать», — думает он, нарочно выбирает место повыше, посредине пожни, так чтобы было видно и своим и группе Ильи Евшина у ключа. Он берет высокий стожар и начинает втыкать его в землю. Земля шуршит под стожаром и поднимается теплой серой пылью. Глубже стожар не идет.

Аверьян льет в ямку воду. Вода исчезает, пузырясь и всхлипывая, и тогда земля начинает обманчиво пахнуть прохладой. Аверьян набивает вокруг стожара сваек и бросает в остожье сучья, палки. Теперь сено не будет касаться земли. Задыхаясь от запахов и тепла, он кладет сено прямо руками, пока может достать. Потом зовет внучку Онисима Катьку и ставит ее на стог. Катька начинает ходить вокруг стожара, обжимая сено. Так они принимаются метать. Аверьян подхватывает вилами громадные, как облако, пласты сена.

Тело у него разгорается, мускулы начинают приятно ныть, немного ломит поясницу.

«На самом деле засиделся»,—думает он и начинает работать быстрее. Вот с копен сняты головы. Вот копны уже наполовину исчезли. Вокруг стога чисто, он почти ничего не роняет на землю.

Потом Аверьян приставляет к стогу две жерди. Катька сползает прямо к нему на руки. Бабы бросают работу и подходят смотреть стог.

— Как яичко! — с восхищением говорит Устинья Белова.

Да, такому стогу не страшен ливень. К обеде на берег реки собираются обе группы. Приходит сам Илья Евшин с женой Павлой. Тут же и Марина. Все рассматривают стог и хвалят. Павла находит, что стог похож, как и предполагается, на Марину...

— Бабы! — кричит она. — Да ведь у Марины в аккурат такая головушка — гладенькая, учесанная!

И, растягивая в улыбку тонкие губы, добавляет:

— Да на кого же еще ему быть похожим. Бабы переглядываются. Смеются глазами.

Настасья с мужем сидят в стороне у кустика. Марина одета празднично, бодрая: такой давно не видали. Бабы наперерыв беседуют с ней.

— С самим-то разговариваешь? — спрашивает ее Устинья.

— Да ведь как.

— Смотри, уж и повеселела!

— День меркнет ночью, а человек печалью, — неохотно отвечает Марина. Она боится и не любит Устинью.

Муж Настасьи Вавила приходил на покос только раз в неделю. Он теперь работал на шоссе десятником. Аверьян здоровался с ним за руку. Изредка перебрасывались двумя словами.

— Плохи стоги мечут, — говорил Аверьян.

— Да не стоги, а шляпы. Прольет. Вот у тебя они хороши. Молодец!

И решили, что метальщики торопятся: думают больше о трудоднях, а не о качестве.

«Хороший он человек», — мелькало у Аверьяна после каждой встречи с Вавилой. Беседовать с ним становилось все легче и легче. Бабы, сначала следившие за ними с жестоким любопытством, больше не обращали на них внимания. Вавила рассказывал о своей работе: все-таки был малограмотным, а стал специалистом. У нас каждый человек растет. Нередко они посмеивались над председателем Маносом, который, как только узнал, что Аверьян прислан партийной организацией, проникся к нему уважением, часто даже называл его на «вы». Когда бабы, любившие иногда пошалить грубо,

вздумали снять с Аверьяна портки, Манос рас-
свирепел, групповода Ваську, подбивавшего
баб на это, обозвал двурушником.

— Ты вот что, — укоризненно заметил ему
Аверьян. — Этим словом зря не бросайся!

— Да ведь как же! — кричал Манос. — Он
все время кого-нибудь воспаляет!

Васька смеялся вместе со всеми.

Манос стоял прямой и величественный. Он
был высок ростом, сухощав, в широкой русой
бороте ни одного седого волоса. На нем была
ковбойка, забранная в черные галифе, на го-
лове пестрая, под цвет ковбойки, кепка, пода-
ренная прошлый год племянником.

До прихода Аверьяна Манос с почтением от-
носился к групповоду Илье Евшину, хотя в
душе и недолюбливал его. Теперь он Ильею
пренебрегал открыто.

— Хоть ты и коммунист, — говорил он
Илье, — а все-таки не послан.

И сразу повертывался к нему спиной.

Илья усмеялся, снисходительно поддакивал,
но чувствовалось, что это его задевает.

Манос был очень бесцеремонен в обращении,
и отучить его от этого было невозможно.

— Эй ты, продукт! — кричал он Илье. — Это
что у тебя за стоги? Сено портишь! У меня
уж давно насчет тебя есть кое-какие теории.

Сзади Маноса шла вся группа Васьки. Все
насторожились. В группе Ильи тоже притихли.

Илья подошел к Маносу. Желтые глаза его
были полны злости. Он переглянулся с Аверья-
ном и вполголоса заговорил:

— Напрасно кричишь. Мой стог круглый,
ровный, как сбитый.

— Дудки, — сказал Манос. — Ставлю на вид! Илья осмотрел его насмешливо, потом обвел взглядом группу Васьки. Все неловко молчали.

— Какой строгий у нас Проня, — сказал Илья.

Манос на это не ответил. Он с достоинством повернулся и указал Илье в угол пожни.

— Вон того калеку я тебя заставлю переметать. И выйдет, что: «Пришел за шерстью, а воротился стриженный».

Женщины засмеялись. Начали перешопываться.

Илья побагровел. Короткие пухлые руки его задрожали.

— Знаешь ты чорта! — крикнул он.

Манос, как бы не замечая Ильи, кивнул своим:

— Пошли!

Илья сделал Аверьяну знак рукой. Аверьян остался.

Илья нервно курил, глядел исподлобья. Потом он подошел к своему пиджаку, достал из кармана очки, какую-то бумажку и протянул ее Аверьяну.

— Это чего? Посмотри-ка.

Аверьян узнал свой почерк. Вспомнил, как прошлый год на правлении выносили Илье письменную благодарность за групповодство на покосе. Ему стало неприятно. Он молча протянул бумажку Илье.

— Прочитал?

— Да...

— Кто подписал-то?

— Проня.

Илья улыбнулся, отнес бумажку на всю вытянутую руку и стал читать ее вслух.

Аверьян отвернулся.

На пожне жужжали косы. Роса давно обсохла, косить стало труднее. К кустам на пригорке шел белоус, он щетинился, хрустел под кошой, подгибался, нога скользила по нему, как по льду.

— Смотри, — сказал Илья, пряча бумажку, — как тут будешь метать? Он не сидит на стогу-то, ползет! — И резко сдернул очки.

— Ну, не все белоус, — осторожно заметил Аверьян.

Илья стоял к нему боком, прятал глаза. Широколицый, с большой бородой, с коротко подстриженными волосами, он казался Аверьяну смешным.

— Я от тебя этого не ожидал, — заговорил Илья, — члена партии позорят у всех на виду, а ты стоишь, послушиваешь, будто и дело не твое.

Аверьян ответил не сразу.

— Проня вопрос ставит правильно. Глядя на тебя, и у нас в группе плохо мечут.

— Значит, я порчу сено?

— Пожалуй, так.

— Я старый воробей, — строго заговорил Илья. — Меня на мякине не проведешь. Я знаю, чего ты хочешь! Ты хочешь завести в группе склоку. Не удастся!

«Надо держаться!» — подумал Аверьян и попрежнему ровно ответил:

— Нет, я этого не хочу. Я просто хочу, чтобы ты лучше работал.

Он пошел от Ильи и с раздражением думал

о том, что предстоит еще немало мучений с Маносом.

Манос встретил Аверьяна радостно.

— Нельзя так с плеча! — строго сказал ему Аверьян. — Ты руководитель колхоза.

— А! — улыбнулся Манос. — Ты все об этом любезном друге. Да, я его еще буду в каждый стог рылом тыкать!

Манос взял косу Устины, стал рассматривать ее и тихонько напевал:

Догорай, горн, моя лучина,
Догорю с тобой и я...

Аверьян увидал, что разговаривать с ним сейчас бесполезно, да и не к месту, — рассерженный, отошел. Весь день он был молчалив и злился на Маноса.

Вечером, проходя через пожню Ильи, с удивлением обнаружил: стог в углу был переметан!

Илья неожиданно приходит к нему под березы.

— Сена не оставил? — издали спрашивает он.

— Нет, все уклали.

— То-то.

Весь горизонт закрыт густыми тучами. В овраге, за гумнами начинает журчать совсем было притихший ручей.

У Ильи усталое лицо, глаза потеряли блеск: ломает перед погодой. Он садится на бревно рядом с Аверьяном и, как бы продолжая рассказ, говорит:

— А разве вся-то жизнь была утеха? Еще

малолетом на сплав пошел. Год на позиции. Один раз с товарищем несли цементную плиту для убежища. Она вывернулась да мне на грудь. Так меня в болото и вмяло. С того увечье. Годы еще не убили, убила болезнь да заботы.

Илья смотрит в землю. Около рта у него глубокие складки. Плечи размякли, опустились.

«Вчера надо было с ним помягче», — думает Аверьян. И снова с раздражением вспоминает Маноса.

— Учился самоуком — от школьников, — продолжает Илья. — В то время у нас в Старом селе было дворов тридцать. Всего пять белых печек. Лучина... Дед мой ходил на пугину. С Кубенского устья до Питера тянули доски. Меня с собой брал. Так я и спознал чужую сторону в двенадцать лет. Подрос, сам ходил коренным, шкипером от купца Никуличева. В Питере знакомился с рабочими. До 1905 года кое-что узнал, но мало. По-настоящему глаза открылись только в семнадцатом году. Злых людей много. Говорили, что я и с эсерами, и с меньшевиками шел, что у меня и сын Витька у белых служил. Все пришлось вытерпеть. А ведь грамота у меня никакая! Все волнует, все мучит и до всего доходишь ошупью.

Слышится отдаленный гром. Они идут в избу. Илья кряхтит.

В избе темно и тихо. Смутно желтеет намытый пол. В простенке у шкафа белым пятном — Марина. Она сразу же встает, прикрывает по-

лотенцем самовар и уносит его за печку. Потом запирает ворота и подсаживается к столу.

Илья рассказывает задумчиво.

Марина сидит, подперев лицо руками, и в упор смотрит на рассказчика. Аверьян замечает, что она взволнована. Это радует его.

Да, Илье пришлось не мало повидать в чужих людях. Аверьян помнит, как однажды, в восемнадцатом году, трое незнакомых людей жестоко били Илью около гумен. Потом люди уехали, а Илья, жалкий, окровавленный, шел в деревню и кричал:

— Всех не прибить! Всех не прибить!

С того времени Аверьян стал уважать Илью и многое ему прощал. Такой человек может ошибаться, но ему не зажмешь рот. Недаром и сейчас его выступлений на собраниях побаиваются. Он режет в глаза. У него постоянно с собой большая клеенчатая тетрадь, полная выписок из газет и всевозможных заметок.

Марина поворачивается к мужу, и Аверьян видит в глазах ее смех. После этого он уже не может сидеть спокойно, все думает о том, какая она нечуткая. Ему хочется встать и уйти. Он с трудом дослушивает Илью, провожает его за ворота и долго стоит в сарае. Зорька подходит и трется о его ноги. Он возвращается в избу и садится в темном углу.

— Ой, прохвостина, и вра-а-ал!.. — неожиданно произносит Марина.

Его кидает в пот от досады. Он с трудом сдерживается.

— Как тебе не стыдно! Тебя ничем не проймешь.

Марина молчит. Кажется, она смущена, не

знает, что ответить. Это несколько смягчает Аверьяна.

— Слушаешь ты всякие сплетни. Пора бы, кажется, перестать.

— А что мы его, калабаху, разве мало знаем? — просто говорит Марина и, не давая ему возразить, принимается рассказывать об Илье все то, что обычно любят перебирать досужие бабы.

Но Аверьян слушает жену, и Илья перед ним двоится. Он говорит Марине:

— А ты все-таки перестань. Рады, такие-сякие, закопать человека.

Обиды на жену в нем уже нет. Он думает о том, что теперь для него трудности будут не уменьшаться, а расти с каждым днем больше и больше. Жизнь усложняется. Он должен на все смотреть прямо и все уметь объяснить. Так ли у других? Мучаются ли так Макар Иванович, Илья? Всегда ли все для них ясно? Обо всем ли можно вычитать из книг?

Над самым домом гремит. Вспыхивает широкая молния, и на секунду они видят всю избу. Потом снова все погружается во мрак. Они сидят, как слепые, и прислушиваются к стону берез за окном. Молнии начинают сиять беспрерывно. Один раз молния кудрявыми зигзагами разрезает небо сверху донизу. Аверьян успевает увидеть белый столб церкви в Костиной горке и совершенно изуродованную, пригнутую к земле рощу. Все время кажется, что избу сорвет и унесет куда-нибудь.

Марина сидит у шкафа, не двигаясь, безмолвно. Ни охов, ни суетни. Она даже изредка выглядывает в окно. На лице ее, освещенном

молниями, ни растерянности, ни страха. Это что-то новое в ней. Аверьян старается понять, отчего это, и все смотрит на жену.

— Ребят напугает, — озабоченно говорит Марина и бежит в клеть.

Скоро возвращается.

— Ничего. Я окошко завесила.

— Не течет?

— Пока нет.

Да, в Марине произошла перемена. Она прошла через большое горе, но выдержала, выросла и окрепла. За последнее время он не слышал, чтобы она с кем-нибудь ругалась или на кого-нибудь жаловалась.

— Не страшно? — участливо спрашивает он.

— Ничего.

— Ты бы подвинулась сюда в простенок...

Она послушно садится с ним рядом. Робко, как в юности, Аверьян кладет ей на плечо руку, и они сидят молча.

«Нет, — думает Аверьян, — ни в одной книге не найдешь того, как быть с человеком, которого уважаешь, но сердце к которому погасло навсегда...» И он решает, что этого человека надо возвышать в своих глазах. От этого человек очищается, крепнет и видит больше радости. Но надо и себя считать сильным, мужественным, способным на самое лучшее.

— Убило всю рассуду, — говорит Марина.

Он подходит к боковой стене и смотрит в огород. Трава на меже, картофельная ботва, лук, крапива у изгороди, раскачиваясь и приклоняясь к земле, рекой уплывают в поле. В редких каплях дождя все еще отблески молний, но гремит уже отдаленно. Потом все зати-

хает. Скрываются тучи. Разом становится светло. Слышен грохот ручьев в канавах. Дорога вся сливается в один поток и к низу, к гумнам несет щепки, солому, старый бурьян, поднятый где-то на задворках.

Высунувшись до половины в окно, Аверьян взволнованно осматривает землю.

Глава девятая

В избе влажные запахи земли и березовых листьев. Ни комара, ни мухи. Березы совсем застыли у окна. Солнце уже взошло. На выгоне режут коровы, слышится рожок пастуха Тимохи. Бабы сегодня, ради выходного и грозовой ночи, проспали.

Напившись чаю, Аверьян идет на реку Аньгу посмотреть утиные выводки. Зорька, видя его без ружья, остается дома.

За одну ночь Аньга пополнила, разлилась по заливам и оврагам. Кое-где занесло песком покосы. Будет трудно косить.

Аверьян идет лесом, в верх, к Старой Колывановой мельнице. Над плесом туман, как в большой чаше. Бревна старой плотины совсем скрыты водой. Наклонившись, Аверьян крадется по лесу.

Здесь всегда выводок, но сейчас плесо чисто. Удивленный Аверьян выпрямляется и подходит к самой воде. За кустом на мели стоят бабы. Перемокшие, веселые, все с подоткнутыми юбками, у всех полные корзины черники. Одна пьет пригоршней воду. Поодаль, крепко поставив загорелые ноги, стоит Настасья — в

белой рубашке, в новой юбке грубого домашнего тканья. Она рассматривает Аверьяна и слегка улыбается. Руки ее раскинуты, корзина и белый узелок свободно висят через плечо. Вода вьется вокруг ее ног серебряными гребешками, видно, как перекачивается около ног галька.

— Нашел выводок, да не тот, — говорит ему Устинья. — Мы, брат, видели, как ты полз.

Спереди Аверьян весь мокрый.

— Черти, — говорит он, — согноли выводок.

— А ты лучше на нас посмотри, — продолжает Устинья.

— Глаза разбегаются.

— Ну, батюшка, сокол с лету хватает.

Бабы выходят из реки и обступают его. От корзины пахнет лесом, свежестью. Он пробует из каждой корзины.

— Все бегает, — замечает Устинья. — И поговорить с ним некогда. Стал коммунистом, — так зазнался.

— Ну, ты зря. Я еще не коммунист.

— Скоро станешь речи говорить, как Илья...

— Не знаю. Если научусь, стану.

Устинья лукаво переглядывается с бабами.

— Первый день, когда ты пришел, у нас говорили: «Вон горская молодая пришла. Давайте спросим: каково первый год у свекровушки?»

Бабы смеются.

— А ну вас! — отмахивается Аверьян.

Настасья не пристает к разговорам. Она стоит в стороне и поправляет юбку. Аверьян подходит к ней. На секунду видит ее лицо и отводит глаза.

— Да возьми и побольше, — говорит Настасья, — не жаль.

Он берет целую горсть и с равнодушным видом поворачивается к ней спиной.

— Что, все у нас в группе будешь, аль в другую уйдешь? — спрашивает Устинья.

— У вас.

— Сегодня станешь стог метать, — возьми меня в помощники.

— Ну, поспеет сено — ладно.

Бабы шумно идут по лесу, а он стоит на берегу и с раздражением думает о том, что до сих пор, встречаясь с Настасьей, не может прямо смотреть ей в глаза.

Потом он догоняет женщин.

— Нас ругаешь, а без нас никуда, — говорит Устинья и встает с ним рядом.

Аверьян обнимает ее за талию, и они не торопясь, в ногу идут за толпой.

— Раньше-то ведь мы с тобой друг от друга ничего не утаивали, — говорит Устинья.

— Я и сейчас такой.

— Неправда. В тебе сейчас уже той простоты нет.

Они спускаются в овраг. Устинья шагает совсем медленно. Женщины удаляются от них. Впереди, за елками мелькают платки, кофты.

Устинья тихо спрашивает:

— Правда ли, что ты осенью с Настасьей в обнимку ходил?

Аверьян выпускает ее талию.

— Ты бы меньше сплетничала!

Несколько минут Устинья молчит. Потом поворачивает к нему круглое улыбающееся лицо и начинает трещать:

— Бабы рассказывают: «Она один раз вечером идет, и он идет. Он ее взял, захватил: «Нам с тобой хоть бы в обнимку подойти». — «Нет, не стоит. Чего зевал раньше? Мне надо на конюшню итти коней кормить». — «Пойдем вместе». — «Нет, который-нибудь один сначала пойдет — либо ты, либо я». Вот после Настасья с Мариной встретились, Марина ей: «Ты молодец». — «А что?» — «Хорошо ты с моим занимаешься». — «Я ничего не занимаюсь. Он меня звал во двор, да я не пошла...» — «Мы с дочерью шли, все у вас подслушали». — «Подслушали — так чего?» — «А он к тебе приставал, да ты не согласилась». — «Нет, мы только пошутили». — «А вот мы с дочерью ждали, уж если бы ты согласилась, так обоим бы головы отрубили». — «Ну, матушка. Надо дожидаться, чтобы согласилась, да чтобы пошли...»

Лицо у Аверьяна горит. Откуда пошла эта сплетня? Он злобно смотрит на Устинью. Устинья затихает. Большие серые глаза ее печальны.

— А ты не сердись, — говорит она. — Может, бабы тут и не виноваты. Дыму, батюшка, без огня не бывает...

Устинья застенчиво улыбается.

— Вот у меня, в девках, тоже был дружок, так, бывало, на покосе видишь — его сапоги лежат, сапоги-то надо задеть...

— Бывает...

Он смотрит в просветы елок, как бы занятый только рекой.

— Вот тут на камнях любят жить утки...

Устинья хитро улыбается и начинает говорить о ягодах: сколько в этом году черники!

Всю дорогу болтают. Устинья больше не вспоминает о Настасье, и когда они, догнав баб, умолкают, Аверьян благодарно смотрит на нее.

Все к полудню просохло, но метать стоги Аверьяну не пришлось: обмеряли участки. Аверьян сидел у Ильи и поджидал комиссию.

В большой летней половине избы было прохладно и сумрачно: окна выходили в хмельник. Эту половину Илья называл горницей. Она служила только для детей, приезжающих из города на лето. Изредка Илья принимал здесь почетных гостей. Иногда сам читал здесь газету или слушал патефон. Все здесь было по-особенному. На подоконниках стояли цветы. На столе, покрытом кружевной скатертью, — письменный прибор, украшенный раковинами. Павла даже входила сюда редко, разве прибрать после мужа, если он что бросит на пол.

На передней стене висел увеличенный портрет Ильи в раме. Под ним подпись: «Дорогому папе. Витя и Матреша». По обе стороны портрета, в рамках под стеклом — ударные грамоты Ильи, выданные лесными и сплавыми организациями. Тут же благодарственная грамота своего колхоза, которую Илья показывал Аверьяну. В стороне висели свидетельства детей об окончании школы и их фотографические карточки.

На полавочнике Аверьян заметил уголок книги и достал ее. Это оказалась клеенчатая тетрадь Ильи. Краснея, Аверьян начал быстро ее перелистывать. Вначале шли выписки из

газет. Потом запись наблюдений за погодой, приметы, учет работы всей семьи. Половина тетради была отведена для хроники колхозных событий.

«29 июня. Поездка Маноса к озеру на колхозной лошади по личным делам. Вернулся только в 9 вечера.

14 июля. Двуручническое поведение кандидата Ав. на пожне Ковытихе в 8 час. утра.

23 июля. В сильную грозу сидел у Ав. Рассказывал ему о своей рев. деятельности. Ушел около 12 час. ночи. Днем по настоянию Маноса остались не обметанными копны. Облака заходили около шести часов вечера...»

Послышались шаги Ильи. Аверьян сунул тетрадь на прежнее место и отошел на середину комнаты. Илья заметил его растерянность, быстро и подозрительно осмотрел комнату, полавочник.

— Ну, вот, сейчас и самовар поспеет.

Подошел к полавочнику и резким движением толкнул тетрадь к стене.

Илья сел за стол на хозяйское место и отмахнул окно. Мирно запахло хмелем и крапивой.

— Не помню, закрыл вчера в сельсовете шкаф или нет, — сказал Аверьян. — Вот сижу и думаю.

— Ну, там у тебя Онисим не прозевает.

— Разве что так.

Неловкость прошла. Когда Павла внесла самовар, Илья во весь голос стал продолжать вчерашний рассказ о своей жизни.

Аверьян слушал внимательно, наблюдая за лицом Ильи, за его энергичными движениями. Потом неожиданно спросил:

— За что тебя били тогда у гумен?

Илья сразу замолчал, сдвинул брови. Павла возмущенно вытаращила глаза. Кран зафыркал у нее под рукой.

— Открой, открой хорошенько, — крикнул Илья и незаметно ткнул ее локтем в бедро.

Павла долила стакан и сразу выпила. Когда затихли в сенях ее шаги, Илья сказал:

— А разве в то время врагов не было?

Аверьян, не отвечая, вопросительно смотрел на него.

— Ведь тогда как было: активиста подстерегали за каждым углом. А разве мало нас погибло от кулацких обреза?

— Тебя-то за что? — уже несколько раздраженно, с тревогой спросил Аверьян.

Илья снисходительно улыбнулся:

— Ну, как ты думаешь, за что могли бить общественника, который у них реквизиции проводил?

Аверьян поставил стакан на блюдечко и откинулся к стене. Он больше не спрашивал, и, когда Илья несколько неуверенно принялся описывать, как он восстановил против себя все кулачество Лукьяновского сельсовета, Аверьян рассматривал фотографии на стене, изредка лишь произнося:

— Аа... Вот что.

Илья совсем растерялся, замолчал.

Как бы не замечая этого, Аверьян сказал:

— Ну, пошли, что ли? Вон прибыла комиссия.

За хмельником слышался голос Маноса:

— Я спрашиваю у своей Авдотьи: «Был тут — рубаха в клетку?» — «Приходил какой-

то». — «Дура, должна была сообщить исполнителю». — «А я почему знаю?» Так и не открыли — кто, а судя по роже — явный. И знаете что, товарищ Азыкин, стал я с тех пор заметно худеть и вянуть!

Увидав на крыльце Илью и Аверьяна, Манос притих, но через минуту уже весело покрикивал Илье:

— Давай-ка ты, мудрило-мученик, докажи беспартийным товарищам!

Илья резко повернулся к Маносу спиной.

— Можете начать и с меня, — сказал он Макару Ивановичу. — А потом я уйду на покос.

Пошли в огород Илья. Манос держал на плече треугольную меру.

— У тебя тут, Илюха, соток семь лишку будет! — сказал он, осматривая усадьбу.

Илья не ответил. Аверьян почувствовал на себе его злобный взгляд и сказал Маносу:

— Ты перестань болтать-то.

Манос взмахнул мерой и быстро пошел вдоль по огороду. Илья сначала смотрел на него, потом сорвался с места и зашагал сбоку, прямо по грядкам, спотыкаясь и обваливая землю в борозды.

Манос закинул конец меры на изгородь и крикнул:

— Шестнадцать с половиной!

Аверьян записал.

Манос взмахнул мерой перед самым носом Илья. Илья быстро отклонился. Это понравилось Маносу. В следующие разы он стал нагибать меру то вперед, то в сторону так, что конец ее все время свистел перед носом Илья.

— Поберегись! Восемь. Десять...

Илья злился, но молчал. Аверьян еле сдерживал смех.

Макар Иванович и работник земельного отдела Азыкин — маленький небритый человек в очках — сидели на бревне и о чем-то тихо беседовали.

Обходя яму, из которой брали глину, Манос остушился и спутал счет. Он подумал секунду и уверенно зашагал дальше.

Аверьян снова записал, перемножил. Получалось немного больше нормы.

— Вертел мерой, — сказал Илья. — Мог натянуть.

— Нно! — крикнул Манос. — Я перемерю.

Аверьян кивнул ему в знак согласия.

— Перемерь только поперек: у ямы ты сбился.

Манос быстро и четко перемерил и нашел еще две лишних меры.

— Теряет характер! — радостно сообщил он. — Придется отрезать много.

— Много излишков найдем мы у вас на усадьбах, — сказал на это Азыкин.

— Что ж, не только у нас, — согласился Макар Иванович.

Пошли на другую усадьбу. Манос, наклоняясь к Аверьяну, заговорил:

— У ямы я нарочно спутал... Тут как-то вечером смотрю — меряет сам. Кол поднимет, оглянется, опять опустит. Так весь огород и прошел. Выжига! — громко добавил Манос.

Аверьян дернул Маноса за рукав, и тот успокоился.

Вечером Илья задержал Аверьяна на краю деревни и кивнул на уходящего Маноса.

— Что тебе этот про меня все врет?

— Почему ты думаешь, что говорили о тебе?..

Илья поморщился.

— Я давно заметил, что ты ведешь с беспартийными вредные разговоры. — Губы Илья задрожали. — Ты мой авторитет запачкал. Теперь меня в группе слушать перестали. Смотри — не с того конца начал карьеру!

Аверьян ответил тихо:

— Я тебя не понимаю.

— Когда-нибудь поймешь!

Илья блеснул на него глазами и ушел.

С этого дня Аверьян не знал покоя. Что за человек Илья?

Однажды Аверьян не выдержал, пошел к Вавиле и все ему рассказал.

Вавила подумал, посмотрел в сторону.

— Если так, — сказал Вавила, — то, конечно, Илья шкурник. Таких надо к чорту выбрасывать из партии. Я его и раньше не особенно жаловал: самолюб, хвастун. Что же поделаешь, язык его спасает. Я раньше вот так же, вроде тебя, смотрю на Илью и думаю: «Человек как будто полезный, а сволочь!» Чорт знает, что получается. Разберись!

Вавила горько улыбнулся.

— Ну вот сейчас что ты о нем скажешь? Плохо стоги метал — выправился? Хотел на своем участке землю скрыть? Он в этом не сознается, раз он прохвост, а Маносу кто поверит? Они друг друга не терпят. Понимаешь, — заключил Вавила, — это все беда как

сложно. Ведь можно и так сказать, что человека выправить надо, а не отсекаль, раз он не чужой!

Так, ничего не решив, они расстались.

Глава десятая

Секретарь райкома Василий Родионович Ребринский едет старым проселком.

Сквозь тонкую завесу пыли леса кажутся незнакомыми. Проплывают шумные поля с цветными кофтами жниц, со стрекотом жнеек. Сверкает на повороте река Модлонь. Навстречу — снова лес. Давно созрела черника. Тяжелее малина. Иногда на секунду запахнет сухими груздями или рыжиком.

Василий Родионович вырос в этих местах, он издали узнает наклонившуюся к дороге кривую сосну, овраг, заросший черемухой, излучины и пороги на Модлони и каждый раз, выезжая сюда вот по этой Пабережской дороге, не может скрыть волнения. Удивительные места!

У Василия Родионовича есть ружье, но охотник он плохой. Он мирный любитель природы. Эту любовь унаследовал он от отца-лесничего и сам кончил Ленинградский лесотехнический институт. Временами он тоскует по работе в лесу.

Иногда машина кого-нибудь догоняет: риковского работника, колхозника, ходившего в райпо за покупками.

Василий Родионович приглашает садиться.

Человек осторожно открывает дверцу, просо-

ываает впереди себя мелкокалиберку. Он небольшого роста, весь какой-то аккуратный, гибкий, с упругими движениями. Лицо у него энергичное, серые с огоньками глаза. Он чисто выбрит, темнорусые волосы свисают на высокий лоб. Это охотник Аверьян. Василий Родионович познакомился с ним на пленуме Зеленоборского сельсовета. Ему понравилось выступление Аверьяна — четкое, сдержанное, умное. Наклонившись к Макару Ивановичу, он спросил:

— Кто это?

— Наш счетовод.

— Занимайтесь с парнем, из него хороший работник выйдет.

— Только приняли в кандидаты.

— А! Хорошо. Очень хорошо.

Василий Родионович стал следить за этим кандидатом — одним из ста двадцати принятых в районе в этом году. Он справляется о нем по телефону, через уполномоченных.

Василий Родионович повертывается к Аверьяну.

— Ну, как дела-то?

— Ничего. Вот, ходил навещать дочь. Учится в средней школе.

— Ну, а как сам-то, учишься?

— Да, почитываю. Больно трудна четвертая глава...

— А ты бы вместе с секретарем?

Аверьян не хочет говорить о том, что сам Макар Иванович с трудом разбирается в этом.

— Много еще других вопросов, — переводит он разговор.

Василий Родионович наклоняется к нему.

— Для вас, товарищ Ребринский, всегда все ясно?

— В чем?

— В людях.

Василий Родионович думает.

— Все просто только для того, кто привык делать, не рассуждая, — говорит он. — Но место, может быть, несколько легче, чем тебе, я много работал над книгами, учился.

— Если в партии окажется прохвост, что с ним делать? — неожиданно спрашивает Аверьян.

Василий Родионович смотрит на него с удивлением.

— Конечно, гнать в три шеи. Разве для тебя это не ясно?

— Ясно. Я так и думал, — отвечает Аверьян и смотрит рассеянно.

— У тебя что-то есть? — участливо спрашивает Василий Родионович.

Аверьян молчит.

Василий Родионович больше не спрашивает.

Подъезжают к перекрестку дорог. Перед ними шоссе. Свеже положенный камень засыпан белым песком. По краям еле намечаются тропки. На ровных стенках канав еще видны следы железных лопат. Влево шоссе перегорожено: эта часть пути пока не открыта.

Они съезжают с проселка, и машина идет ровнее. Строгая линия шоссе ослепительно светится. Пыли почти нет. Солнце ловит их в просветы елок и заставляет жмуриться.

Вот новый мостик через ручей. На желтом настиле, у перил, еще валяются стружки.

Где-то в стороне кривляет по лесу старый проселок.

Василий Родионович кивает Аверьяну на шоссе.

— А человек-то из ваших вырос. Мастер!

— Да, да, курсы прошел не даром.

— Ну, как он дома? Жена есть, дети?

— Есть. Ничего, живет. Оба они с Настасьей работники хорошие.

Аверьян высовывается наружу.

— Вот и наше Зеленоборье.

Лес обрывается, и они видят внизу весь сельсовет, разрезанный двумя реками. Прямо на них от Новопокровского леса несетя широкая и стремительная Модлонь. По берегам ее—деревни: Тимошкино, Дор, Прозоровка, Ястребки, Старое село. Слева из Раменского леса впадает в нее Аньга—кривая и узкая, как второпях брошенный ремешок. На ней только одна деревушка у самого леса—Прилепы.

Через Модлонь, из Старого села в Костину горку, висит над водой переход—тонкие лавинки, с перилами. На самом берегу у перехода дорога круто сворачивает влево и идет полями до самого леса.

— Вот,—говорит Василий Родионович,—надо сделать так, чтобы эта дорога не сворачивала.

— Да, да,—кивает Аверьян.

Оба, задумавшись, смотрят на реку.

— К старику Ермоше чай пить?—спрашивает шофер Нефедыч.

— Давай!—весело соглашается Василий Родионович.—Кстати и выкупаемся.

Вправо на холме, в группе молодых сосен, пестреют крыши Лебежского хутора.

Нефедыч осторожно сворачивает по мостку

через канаву, и вот они уже на хуторе. Старик Ермоша сидит в огороде с внучкой Нинкой. Увидав секретаря, садит девчонку прямо на траву и семенит к крылечку.

— Здравствуй, дед!

— Здравствуй. Чаю хочешь?

— Да, согрей.

Ермоша отечески осматривает его.

— Что давно не видно? Мы думали, не уехал ли куда?

— Как здоровье-то?

— Я-то? — не расслышав, отвечает старик. — Пускай сын со снохой переезжают, а я останусь. Стану жить в баньке.

— Что, отсюда не хочется?

— Да ведь как, привычка...

Старик, опечаленный, умолкает. Потом идет греть самовар и все ворчит.

Все трое спускаются к реке.

Жарко даже в кустах. За гумном, с картофельных гряд поднимается тонкая пыль.

— Как овсы? — спрашивает Василий Родионович.

— Здесь ничего, а вот в Азле, — говорят, — погорели. У нас и все так: не иней, так засуха. Старики рассказывают: был тут годок — в конце мая снегу нападало.

Василий Родионович осматривает широкие ржаные склоны, ряды белых берез на берегу Модлони. Кое-где сереют громадные камни, на них пятна зеленого моха, глубокие впадины и округлости, сохранившиеся, вероятно, еще со времен ледников. Здесь все необычно. Но какая суровая сторона!

Чай пьют в огороде под черемухой. Ермоша,

в расстегнутой рубахе, босиком, носится, собирая посуду. Ему помогает Нефедыч. Нинка сидит в траве тихо.

— Жарко, дед! — говорит Василий Родионович.

Ермоша понимающе улыбается.

— Нет, ничего, я тут сорок лет прожил. Вот только разве зимой одному будет постыло.

Аверьян спешит домой. Он хочет пройти до деревни, берегом, осмотреть: огорожены ли стоги?

Василий Родионович на прощанье крепко жмет ему руку:

— Ну, как ты теперь, успокоился?

— Да.

— А самый трудный вопрос все-таки поберег для другого раза?

Аверьян ничего не отвечает.

Вопрос о поведении Ильи сейчас кажется совсем мелким, но, главное, не хочется говорить еще и потому, что это будет похоже на кляузу.

Глава одиннадцатая

Аверьяна хорошо видно со всех склонов поля. Женщины-сноповязальщицы останавливаются, прикладывают руки к глазам и смотрят на него. Любопытный народ! Как будто целый год не видели. Осмотрев пожни, он спускается в овраг и идет по высохшему руслу ручья к большой дороге. Пускай думают: куда потерялся? Здесь, под ольхами, тихо, прохладно. Он идет не спеша.

Впереди шуршит галька. Аверьян останавливается и за кустом видит синюю кофту Настасьи. Он сразу соображает, что встреча эта не случайна, что Настасья вместе с другими видела, как он шел по берегу, и нарочно пришла сюда.

Аверьян с полминуты стоит и смотрит на нее. Потом, стараясь сдержать волнение, шутит:

— Хороших людей везде встречают.

— Как же, ведь все-таки начальство.

Она подходит к нему. Сильная, загорелая, босиком. Белый платок лежит на плече.

— Ты зачем пришла?

— Давно тебя не видела.

— Все такой же...

Она смотрит на него тревожно и пристально, как бы изучая. Аверьян не понимает, в чем дело.

Потом лицо ее светлеет. Она доверчиво при-
двигается к нему и шепчет:

— Надо итти, а то скажут: опять сошлись.

Оба тихонько смеются.

— Что же теперь-то? — говорит Аверьян. —
Теперь то, наверное, ничего.

Молчат. Слышно, как работает жнейка.

Настасья перекатывает босой ногой гальку.

— Стою и думаю, — говорит она, — сказывать самой или от других узнаешь?

День перед ним темнеет. Он садится на выступ берега.

Не глядя на него, Настасья продолжает:

— Кто-то пронес, что на воскресенье вечером нас с тобой застали в овине.

Щеки ее пылают.

Теперь и Аверьян не смотрит на нее. Он бормочет:

— Чорт знает что такое!

Настасья берет кончик платка и подносит его к лицу. Вдруг она резко выпрямляется, смотрит ему в глаза и твердо произносит:

— Никому не выговаривай. Надо виду не показывать, тогда отступят!

Она уже повеселела. Улыбается. Надо было придумать это!

Быстро поднимаясь из оврага, она оглядывается на Аверьяна и шутливо поет:

Милый мой, не сознавайся,
Я — так не сознаюся.
Укорят, так ты посмейся,
Я так заругаюся...

И, махнув ему рукой, скрывается за кустами. Ее давно уже не слышно, а Аверьян все стоит, стараясь разобраться во всем том, что сейчас слышал и видел.

Дома Аверьян делает вид, что ничего не знает, но вскоре ему становится стыдно жены. Он с горечью говорит:

— Никак не дают жить. Убежал бы чорт знает куда от этих сплетен!

Марина молчит. Теперь ее не разубедишь ничем. У нее совсем не живое лицо, глаза страдальчески смотрят в одну точку. Как она похудела за эти несколько дней! Но она не жалуется, не плачет и, когда приходит Павла Евшина с намеками о худой жизни, — деревянно отвечает ей:

— Ну, кому как изживется.

И больше ни звука.

Сплетня пущена так ловко, что всюду он слышит одно и то же.

Вечером в маслодельном заводе Павла — та прямо говорит:

— Вот, бабы, недолго Марина покрасовалась! Вот кто поплакал, помучился! Как их снова-то чорт столкнул. Да какой домово́й и высмотрел-то! Ну и народ...

Павла оглядывается кругом. Аверьяна в толпе не замечает.

— Вот тебе и партийный... — добавляет она.

Наклонившись, Аверьян пробирается на улицу. Земля перед ним плывет. Он долго шагает по полю, потом задворками выходит на проселок и направляется в Костину горку.

Солнце на закате. Бабы, пришедшие с работы, с любопытством рассматривают его. Около сельсовета пусто. Аверьян подходит к окошку.

Онисим сидит на полу и сматывает новые сети. Он так занят, что Аверьяна не замечает. Аверьян осторожно дергает к себе раму. Рама отходит.

— Плохо закрываешься, — говорит он, наваливаясь на подоконник.

Старик поднимает голову.

— О-о! Пришел, Бова-королевич. А я уж думал, так в городе и останешься.

Онисим продолжает сматывать сети, изредка поглядывает на него и улыбается.

— Дома-то все ладно?

— Плохо, старик. Ты ничего не слышал?

Онисим, кряхтя, разгибается и подходит к окну.

— Вот беда. Ругаешься?..

Аверьян рассказывает ему о сплетне.

Онисим чешет затылок.

— Нехорошо, — говорит он строго. — Никуда не годно. Придется тебе поговорить с самим.

Онисим приклоняется к Аверьяну и, щекоча его бородой, спрашивает:

— А может быть, ты о ней думаешь?.. Народ замечает. А?

— Нет, нет! — кричит Аверьян и сминает ногой растущую у стены крапиву.

— Мекаю я на одного человека, — ворчит старик. — От этого всего жди!

— Я ни на кого не думаю, — угрюмо отвечает Аверьян и переводит разговор.

— На хуторе был.

— О! Что Ермоша?

— Сидит с девчонкой.

— Не подвел бы он. Завтра хотим на Аньгу. Давай-ка с нами? Лодку найдем, законопачу старую.

— Давайте! — радостно соглашается Аверьян.

Он быстро лезет в окно и начинает помогать старику сматывать сети.

Весело беседуют.

— Избушка у Данислава не снится? — с улыбкой спрашивает Аверьян.

— Да-а-а... Скоро то время. У меня с самим согласовано: только до осени. Как глухарь на сосну вылетел, так меня больше в Костиной горке не увидишь.

— А кто сторожить будет?

— Подговорю Ермошу.

— Ермошу самого понеси, не услышит.

— Но, но, ты меня не дразни, найдем сторожа!

Аверьян смеется.

— Надо попросить Устинью Белову, может быть, согласится, — говорит он.

Они долго беседуют. Онисим рассказывает даже несколько присказок:

— Бывало, мужик-то с бабами пошел в лес, да и заблудились. Мужик залез в елку посмотреть, а поднялся ветер, шорох. Он и кричит бабам: «Ой, улечу!» — «Не ултай, а то мы одне останемся!» (Думают — от них улетит.) Мужик-то лишь с елки полетел... Вот они и остались...

Оба смеются.

— А ночевать все-таки иди домой, — говорит потом Онисим. — Держись, а то улетишь, как этот мужик.

И Аверьян идет домой.

Ночи—как обрезало—стали темны и влажны.

Он бойко топает по земле босыми ногами. Старик Онисим всегда умеет подбодрить!

В Старом селе редкие огни. Во тьме, на крыльце Маносовой избы слышатся тихие женские голоса. Одна из женщин передразнивает Аверьяна:

— Топ! Топ! Топ!

Аверьян останавливается. Женщины затишают.

— Не могу узнать по голосу, — говорит Аверьян.

— Это ты, Аверьян?

— Я.

Теперь он узнает голос Анны — жены Васьки Хромого.

— А мы вязки делаем, — сообщает Анна. — Днем, если машина хорошо пойдет, так делать некогда.

— Когда спать-то будете?

— Когда все уберем, тогда выспимся.

— Какие молодцы!

Он легко прыгает через изгородь, опершись на нее руками, и подходит к темному крыльцу. Наклоняется по очереди к каждой, стараясь узнать. Третья с краю. — Настасья. Он слышит ее дыхание и чувствует на себе ее теплый взгляд. Быстро отклоняется.

— Чего пришел? — говорит Настасья. — Опять какую-нибудь сговоришь, застанут в овине...

Бабы смеются.

— Беда не велика, если и сговорю...

Для виду он осматривает у них вязки («Много ли наделали-то?») и идет.

Вот как она смело! Пожалуй, не сразу найдешь, что ответить. Он вспоминает об их маленьком заговоре, и это прибавляет ему силы.

В семье Вавилы все мирно. С Аверьяном Вавила как ни в чем не бывало встречается, разговаривает.

— Давеча ты куда-то быстро побежал.

— В лавку ходил. Приехала на каникулы Аленка.

— А!.. Большая уж у тебя дивчина стала.

— Да вот закончила восьмой класс. Говорит — все на отлично!

Вспомнив о дочери, Аверьян хмурится. Выйдя из машины, Аленка бросилась к нему, но увидела на дороге баб и опустила голову.

Правда, она говорила с ним, рассказывала о дороге, но в глаза отцу не смотрела. Сплетня, вероятно, дошла и до нее. Знает ли о сплетне Вавила? Если знает, то в чем дело?

Вавила продолжает встречаться с ним.

Аверьян пробирается задворками в Малое поле. Вавила видит его в открытое окно и машет рукой. Аверьян останавливается в нерешительности. Потом подходит к окну. На столе самовар. Сияет фарфоровая утка — сахарница. Настасья в белой вышитой рубашке. Волосы опрятно забраны в пучок. Тут же старуха-свекровь и сын Колька. Он сильно похож на мать.

— Что, дорогу закончили? — спрашивает Аверьян.

— Пока до Азлы. Признаться, и надоело. Каждый выходной взад — вперед сорок километров! Да ты давай, заходи! Настасья, налей ему.

Аверьян заходит в избу. Старуха молча и, как ему кажется, злобно сторонится. Он берет из рук Настасьи чашку, неторопясь щиплет сахар.

До чего уютно у них в избе!

— Теперь у нас в партийной организации будешь, — говорит он. — Станешь помогать в работе.

— Да. Станем работать помаленьку. Азыкин все тут?

— Прикреплен к нашей организации. Бывает часто.

«Как это так я быстро согласился, пошел!» — с досадой думает Аверьян.

Ему кажется, что он крадет тут все: сахар,

пироги, место за столом рядом с недружелюбно притихшей старухой.

Сейчас Настасья не смотрит ему в глаза, разливает, слушает их беседу.

Молчание. Испугавшись этого, Аверьян начинает разговаривать с ребенком.

— Ручкой-то, Коля, не надо. Возьми ложечку. Ручку вытри о подол. Вот так.

Настасья говорит сыну:

— Скажи дядюшке, чтобы взял пирога!

Старухе надоедает молчание. Она принимается сообщать новости:

— Лукерья Ермолаева хвастает. Сын из тюрьмы вышел. «На свету пришел, постучался у ворот, открыла: «Мое красное солнышко!» Заплакал: «Мама, ты жива?..»

— Долго ли поживет?—говорит Настасья.— Боюсь, до первой рюмки.

— Ну, сейчас руки-то ему окоротили.

Теперь мужчины молчат, слушают их. Аверьян ждет удобного случая уйти. Потом говорит:

— Эх, забыл отправить в район сводку. Так на столе в сельсовете и осталась!

Он поспешно выходит из-за стола, благодарит и бежит на улицу.

Однажды Аверьян замечает, что Вавила пристально следит за ним и, насторожившись, ждет.

— Слушай-ка, Аверьян,— говорит Вавила.— Давай в выходной катнем к озеру Воже на уток?

— На уток! — стараясь оттянуть время, произносит Аверьян.

— Да. Ведь сезон-то начался!

— Давай! — с трудом выговаривает Аверьян и быстро поправляется: — Я скажу Ивану Коротову.

— А зачем? Вдвоем съездим.

Аверьян пробует улыбнуться.

— Ну, что же, вдвоем больше достанется.

Накануне отъезда они заряжают патроны, кладут в сумки молодого картофеля, хлеб, крупу, ложки.

Аверьян идет к Онисиму договариваться насчет лодки.

Он застаёт Онисима обеспокоенным: близится осень. День ото дня больше и больше желтеет лист, и утрами ежедневно слышится по опушкам лай собак. В Новопокровском лесу, в Пабережском, в своем Старосельском. А в Сухой Ниве, говорят, подросток по одно утро принес с чучалок двадцать семь полевых! Парнишке не больше шестнадцати. Собака Найда, зачуйв осень, лай на опушке, тоскует, скулит у двери. К ружью он уже не подходит. Если взять его в руки, Найда сойдет с ума. Теперь, того и гляди, убежит в лес, пристанет к чужому охотнику, и эта пропадет, как пропал Лыско.

Охотник Лавер давно на Укме. Обжил избу. Таскает глухарей... А у него нет надежды на смену сторожа. Вот что наделал глухая беда, Ермоша!

Аверьян и сам много думал об этой истории с Ермошей.

Старик забросил работу в колхозе, все сидел на пригорке и смотрел, как разламывали двор, потом сарай. Иногда он злил работавших, неожиданно появляясь там, где только что упало

бревно, конец доски или обрубок. На него кричали. Ермоша отмалчивался и все старался показать, что бродит по делу. Он заходил в сарай, с которого уже была снята крыша, и заглядывал в крохотное окно на задней стене. Отсюда он сорок лет наблюдал восход солнца.

Когда очередь дошла до избы, сын с женой и ребятишками переселились спать в деревню. Старик ушел жить в баню. Днем он снова стал работать в колхозе, а к ночи плелся сюда, за три километра на опустевший хутор.

Он часами сидел на пригорке у того места, где стоял дом. Его часто видели здесь с большой дороги и говорили:

— Вон Ермоша вышел на свое подворье.

Аверьян посочувствовал старику. Раз-другой ругнул глухого Ермошу. Онисим постепенно успокоился. Аверьян сказал о лодке.

— Чудно, если с Вавилой, — ответил Онисим. — И говоришь, сам спрашивает?

Старик подумал.

— Скажи-ка ты лучше ему: лодку починить нельзя.

Потом продолжал торопливо, решительно:

— Иди, полюбуйся.

Они спустились к Модлони. Онисим разобрал на берегу большой куст.

По всему килю лодки шла щель.

— Набьем планок, утычем, — сказал Аверьян.

Его охватило неожиданное упорство. Он начал спорить со стариком, а когда тот, наконец, согласился, Аверьян вдруг присмирел и больше не произнес ни слова.

Они принялись за дело, и вскоре лодка была спущена на воду. Аверьян простился со стари-

ком, быстро начал работать веслами и под Старым селом вытащил лодку в пересохшее русло Митина ручья.

Они встречаются на деревне. Оба с ружьями, с котомками.

«Буду молчать, — думает Аверьян. — Пускай он заговаривает».

— Вчера «Правду» читал? — спрашивает Вавила.

— Нет, не успел. А что?

— Как здорово там насчет учебы! А в Сохте секретарь боится, как бы не обвинили в бюрократическом «контроле». И совсем не руководит.

Оба смеются.

Постепенно разговор налаживается. Шагают плечо к плечу. Аверьян снова чувствует, что Вавила внимательно и неустанно наблюдает за ним. В чем дело? Он резко поднимает голову. Вавила не отводит глаз. Он смотрит на него пристально и мирно. Аверьян начинает спешить. Целые сутки вместе! Придется ночевать где-нибудь в стогу или в тресте. К чему эти шутки?

Они подходят к Митину ручью. Аверьян прыгает с берега, разбирает кусты и видит что лодки нет. Он виновато смотрит на Вавилу.

Вавила огорчен.

— Без своей лодки пустое дело.

У самой воды на мокром песке Аверьян видит четкие отпечатки больших сапог.

— Пройдем коли по реке? — предлагает Вавила.

Они прячут котомочки в кустах и поднима-

ются к устью Аньги. Но уток мало. Возвращаются в деревню.

Однажды под вечер в сельсовет приходит Макар Иванович, запыленный, усталый — был в дальних деревнях. Сухо кивнув Аверьяну, он проходит к себе. Слышно, как перебирает на столе бумаги, скрипит ящиком.

Онисим с тревогой начинает посматривать на дверь. Вдруг дверь открывается, и Макар Иванович, не глядя на Аверьяна, громко говорит:
— Бавила и Настасья разошлись!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава двенадцатая

Манос как-то узнавал о каждом приезде в сельсовет Азыкина и ловил его на дороге, вечером приходил на кружок в кабинет Макара Ивановича, внимательно слушал все, что говорил Азыкин. Внимание его к Аверьяну ослабло. Теперь он относился к нему, как к равному, неплохому товарищу, но прежнего уважения уже не было.

Он постоянно звонил в сельсовет.

— Это кто? Аверьян? Здравствуй, Аверьян. Говорит председатель колхоза «Искра» Колыбин. Ну что же делать, раз у меня чин имеется. Ты, брат, вот что — позови-ка Трофима Михайловича. Трофим Михайлович? Погода-то! Говорю, погода-то какая? В лес бы сейчас, к озеру! А? Тут мне, Трофим Михайлович, довелось вычитать из одной статьи два слова: «Трагическая ситуация». Объясните, пожалуйста, что это такое. Ну, ну, хорошо. Работайте, работайте — подожду до другого раза. До свиданья!

Однажды Манос купил баранок и позвал Азыкина пить чай. Часть баранок он выложил

В тарелке на окно, так, чтобы все видели, и рядом положил свою полевую сумку. Получалось, как будто в доме находится какой-то гость из военных.

Манос сидел в самом окне и рассказывал Азыкину о себе так, что было слышно у околицы.

— У меня, товарищ Азыкин, такой нежный характер. Уж не утерпеть, чтобы не думать. Иногда всю ночь не спишь. А то вот так сидишь под окном и думаешь. Отчего происходит вращение земли? Или как живет букашка? Посмотришь, вся меньше рубашной пуговицы, а ветром ее с листка не срывает. В чем содержится сила? Образование у меня не особенно большое. От этого, должно быть, во мне все время беспокойность духа. Я, например, могу над книгой часы терять. Она тебя держит все равно, как живое существо. Потом рассердишься, бросишь и идешь работать, наверстывать. А газету взять! Бывало, сунешь в охотничью сумку на пыжи, после где-нибудь в избушке надо патроны набивать — прицепишься к факту из жизни или к слову, например: «Конференция круглого стола» — и сидишь и думаешь, и порох из гильзы просыплешь, а надо узнать, что это за «круглый стол». Или встретишь какой-либо пример любовного характера, на почве неплатежа или прямого обмана бывшим мужем, — опять глубокие мысли и даже, я бы сказал, какая-то грусть. А один раз читаю в газете: «Ученик бросил в учителя чернильницей». Сразу у меня волосы дыбом. Раньше бы меня за это семь дней подряд драли. Теперь нельзя. Вон как у Ефимки Репкина

сын говорит: «Тронь — достань крови — узнаешь, что будет». Понятно, сильно бить и сам не станешь, а потаскать надо.

— Передовой колхозник — и вдруг говоришь о телесных наказаниях! Нехорошо.

Манос подумал, виновато улыбнулся.

— Да ведь если бы я и постегал, так немного.

— Все равно это мне не нравится. Просто ты меня удивляешь. Ведь это совсем не по-советски.

Манос помолчал и снова принялся рассказывать.

— Кто-нибудь, бывало, скажет: «Ну, Проня у нас зачитался. Уж он у нас до чего-нибудь дойдет. Прошлый год вот так читал да читал — и уехал на курсы машинистов».

— Ну, как?

— Да кончил. Сейчас для меня любая жнейка или льномялка все равно как ружейный механизм. Хотите, после чаю покажу на деле?

Азыкин не отвечал.

Поняв его молчание как согласие, Манос еще более оживился, почувствовал прилив доброты и крикнул двум прохожим, сидящим на бревнах:

— Чьи?

Тот, что постарше, с широкой седой бородой, обернулся:

— Мы из Лукьянова. Ходили к озеру за сухой рыбой.

— Идите, по чашке чаю.

Прохожие переглянулись и пошли в избу.

Манос, не ожидавший такого быстрого решения, несколько растерялся, на минутку даже

притих. Потом оправился, придвинул прохожим хлеб и сахар.

— Это что же, до вас километров девяносто будет?

Старший стал по пальцам перечислять места.

— Каликино, Сохта, Азла, Ковжа, Лельма...

— Что же вы пешком? Разве лошади нет в колхозе?

— Да нет. У нас там на острове у Спаса сваты, думаем — рыбки достать, да и не видались давно, дня три погостили.

— А! — улыбнулся Манос. — Это дело.

Подумав, снова спросил:

— Это у вас там работал наш староселец Илья Евшин?

— Илья? — переспросил Лукьяновец. — Да, у нас такой работал.

Лукьяновец помолчал, переглянулся с товарищем (тот не торопясь пил из блюдечка, аппетитно закусывал хлебом) и подавил усмешку.

— Мы его знаем.

Манос сделал вид, что не заметил его усмешки.

— Один раз какие-то два чудака напали на нашего Илью у гумен и давай утюжить. Оформили его так, что насилу домой пришел.

-- Это ребята вдовы Степахи из Замошья — Киря да Алешка. (Лукьяновцы снова переглянулись.) Этот ваш Илья у нее два мешка овса увез.

— Вот как! Смотри, верно ли?

Лукьяновец обиженно промолчал.

Манос поторопился загладить оплошность:

— Я, признаться, слышал об этом раньше, только все хотелось переспросить.

Вышли из избы и все вместе зашагали до околицы.

— Ну, а сейчас наш Илья выправился, — сказал Манос. — Ничего плохого за ним не слышно.

— Этого я не знаю, — ответил пожилой лукьяновец и свернул за канаву на прямую дорогу к реке за своим молчаливым товарищем.

— Знаете, кто этот Илья? — сказал Манос. — Это зверская душа!

— Ну, ты очень скор, — ответил Азыкин. — Может быть, у человека есть какие-то недостатки, а зачем же все-то на смарку? Про Илью много сплетен. Он ведь любит говорить правду в глаза.

Манос почувствовал, что этот разговор Азыкину не нравится, тронул его за рукав и зашагал к ближайшей жнейке.

Во время выборов кандидат партии Илья работал агитатором. Говорил он хорошо, четко. Иногда он был способен на самоотверженность. Ради дела одной вдовы Илья пробыл в районе целый день, а приезжал только сдать картошку. Он пошел в райзо и не давал работникам покоя до тех пор, пока не добился, чего хотел. С тех пор Азыкин его запомнил. Раньше Илья дома жил мало, все больше на железной дороге, табельщиком. Жил скромно. Берег копейку.

Азыкин удивился, когда узнал, что дома многие Илью недолюбливали. Илья выступал на собраниях с обличительными речами. Может быть, в этом было все дело? Потом Азыкин понял, что дело еще в чем-то другом. «Не по-

торопились ли его принять в партию?»—думал Азыкин. Сам он родился и вырос в деревне. Хорошо знал, как иногда бывает нелегко разгадать людей в чужом месте. С Ильей он много раз беседовал о работе, об учебе, бывал у него.

Маносу эта дружба не нравилась, но он считал, что Азыкину все это нужно для работы, и скрепя сердце мирился.

Не нравилось и Илье то, что Азыкин часто беседует с Маносом. Он считал, что Манос может наговорить много пустого. Будет не хуже, если Манос перестанет вертеться около Азыкина.

Однажды встретив Маноса в поле, Илья оглянулся по сторонам и шутливо заметил:

— Ты прошлый год на одном обжегся...

Манос потемнел:

— Это ты про Трофима Михайловича?

— Успокойся, — сказал Илья. — Я ничего тебе про него не говорю. Я про Шмотякова.

Но Манос не мог успокоиться. Тонкие, расширенные ноздри его дрожали.

Прошлый год Манос всячески старался угодить приезжему из Вологды некому Шмотякову, выдававшему себя за охотоведа. Манос охранял отдых Шмотякова, ездил с ним по рекам, совершенно не подозревая, что прислуживает диверсанту.

— Чего же тут удивительного! — ровно продолжал Илья. — Не один ты был обманут. Чудак!

Манос посмотрел на него с ненавистью и отошел. Он сел на конце полосы, где женщины вязали снопы, и притих. Лицо его было страдальчески вытянуто и бледно.

Устинья подошла к ведру с водой и участливо остановилась рядом с Маносом.

— Сидит один-одинешенек. Что с тобой?

Манос молчал.

Устинья напилась и склонилась к нему.

— Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко!

Манос улыбнулся.

— Ты нам в таком виде не должен показываться, — шепнула Устинья. — Что в тебе в эдаком-то? То бывает любо, как мимо пройдешь, а сегодня хочется бороду вырвать.

Глаза Маноса наполнились смехом. Он поднялся и весело посмотрел кругом. На конце полосы работала Настасья. Она вязала не разгибаясь. Девчата, молодые бабы пели, перекликались друг с другом. Настасья как бы ничего не замечала, не подавала голоса.

— Как у них? — вполголоса спросил Манос, кивая на Настасью.

— Живет. Хоть и шутит и говорит, а ведь от людей, знаю, стыдно, да и невесело одной.

— Удержатся?

— Не знаю.

Помолчали. Слышно было, как весело пофыркивает лошадь.

— Что тут такое получилось? — снова спросил Манос.

— Злые языки. Я немножко-то думаю, да молчу. Надо проверить.

— Ну, ну, проверь.

Вавила и Настасья разошлись тихо, никто не слышал у них споров.

По словам Павлы, больше всех опечалил этот разрыв Илью.

На самом деле, Илья стал нервным: если сильно хлопали дверью, вздрагивал.

Один Манос не верил Илье попрежнему. Он прислушивался к разговорам о нем и улыбался.

Аверьяна Манос щадил: при нем говорил на отвлеченные темы:

— Ну, как там твердолобые?

И принимался рассказывать все последние газетные новости. Дело в том, что у него появилось новое увлечение: он решил стать хорошим оратором. Его все время нужно было слушать. Началось это неожиданно. Манос шел с Азыкиным и рассказывал ему о себе:

— В 1912 году, когда я жил в Архангельске, так ходил с полочки в самый лучший трактир. Любил послушать, как играет баян «Вальс разбитой жизни». Один раз сунул портмоне́т в брюки и спокойно выхожу на улицу. Мне будто кто шепнул: «Прокопий, а где у тебя документы?» Я руками начал водить с ног до головы, но было уже поздно: деньги, документы и карманные часы утекли в руки классового врага. Кряду почувствовал себя ненормальным. Когда заявил в участок, то за паспорт с меня потребовали штрафную сумму, а у меня ее нет. С тех пор, разве во дворе фабрики тальянку послушаешь, а ходить в трактир стремления не стало... Стал читать книги. Например: «Ведьма и черный ворон за Дунаем». Или пойдешь гулять — заглянешь в сад, на пристань. Бывает, пройде́шься с кем-нибудь под ручку...

Манос помолчал, задумавшись.

— Все это дошло в письменной форме до моих родителей. Отец думает: «Баловством за-

нимается, надо женить». Вытребовал домой и женили.

— Ты хорошо рассказываешь, — скрывая улыбку, заметил Азыкин.

Манос просиял и подумал о том, что он и раньше всегда умел хорошо сказать, но некому было оценить! Только сейчас по-настоящему узнал себе цену. Тут он решил стать большим оратором. Теперь он даже с Ильей был не так строг, потому что увлекался формой речи и частенько вместо строгих выражений или насмешки произносил что-нибудь напыщенное, но не злое. Он стал очень многословен, иногда просто раздражал. Все знали, что это у него пройдет, но пока вынуждены были терпеть. Не терпела его словолюбия лишь одна жена Авдотья: она сразу принималась ругаться, что возмущало оратора до глубины души. Он умолкал опечаленный. Сидя у окна, смотрел на проселок. Колхозники из дальней деревни ехали на мельницу. У одного из них небрежно, козырьком набок, надета фуражка. Это смешило Маноса. Он сразу забывал огорчения, открывал окно и выкрикивал приветствия.

Манос наблюдал за ораторами. Очки постоянно носил с собой. Он не брезгал даже учиться у Ильи и так увлекался, что пропускал мимо ушей его ядовитые замечания. Он испытывал Илью во всевозможных настроениях. Наблюдал за ним, как самый кропотливый исследователь. В такое время его невозможно было рассердить или обидеть. Илья стал замечать странное выражение лица Маноса во время встреч с ним и чувствовал непонятную тревогу.

Однажды Манос для того, чтобы испытать,

как держит себя Илья в злобе, неожиданно сказал ему:

— Сплетню-то, Илюха, пустил ты!

Илья вытаращил глаза.

Манос немного отступил, чтобы лучше наблюдать за ним.

Илья сначала побледнел, потом все его лицо покрылось красными пятнами, глаза стали совсем золотыми, как у жабы. Он долго не мог произнести слова, и это не понравилось Маносу: тут пока нечему было учиться.

— Я тебя, пустую голову, сразу к прокурору! — оправившись, наконец, вымолвил Илья. — Ты у меня познакомишься с советским законодательством!

«Вот это хорошо, — подумал Манос. — Надо запомнить!»

И подлил в огонь масла:

— Ну, ну, рыло-то не вороти. Хотел повредить Аверьяну, а навредил Вавиле. Все знаем.

— Я с тобой не хочу разговаривать. Мы с тобой поговорим в другом месте!

Последняя фраза тоже понравилась Маносу. Он терпеливо ждал еще, но Илья, больше ничего не добавив, ушел.

Манос завел тетрадь, как у Ильи, и стал записывать в нее все, что, по его мнению, было интересным. Незаметно, увлекаясь, он стал очень груб с Ильей, часто называл Илью — Илюхой, что приводило того в бешенство.

Илья не выдержал и однажды резко заговорил с Аверьяном:

— Ты не видишь, что делает этот прохвост. Он просто издевается над коммунистами. Как думаешь — это тебя касается или нет?

— Других он что-то не трогает, — мягко заметил Аверьян. — Ты, должно быть, сам как-нибудь нагрубил.

От злости Илья начал заикаться.

— Ты что, у него на побегушках?

Аверьян сдержался и ушел. В тот же вечер он строго беседовал с Маносом. До каких это пор будет продолжаться!

— Ой, господи, — отмахнулся Манос, — как мне опостылел этот фрукт!

И заглянул в тетрадь.

— Завтра надо допахать полянку в Езовой. Тракторы туда не проберутся, мосток разломан. Не хочешь с Иваном Кобытовым для упражнения?

Аверьян забыл приготовленную злую фразу.

— Раз надо, чего ж. У меня время будет.

— Это вот представляет интерес, — сказал председатель. — Илюху тоже пошлем. А видел, как на Ковыгтихе гриву подняли? В колено! Земля рассыпается, как творог.

Аверьян посмотрел на просветлевшее лицо Маноса, и горячность его исчезла.

Полянка дальняя. Поднимаются рано и к восходу еле поспевают на место. Иван Кобытов, не выбирая, становится первым с краю полосы. Земля тут тяжелая, с водорезом. Особенно урастают края. Илья, подумав и осмотревшись, становится за Иваном. Аверьян встает рядом с Ильей.

— Оставь мне поменьше, — говорит Илья.

— Хорошо, — охотно соглашается Аверьян. Оставляет ему совсем немного: закончит, перейдет к краю, раз сам этого хочет...

Утро лохматое, мокрое. Пухлые дождевые облака. Кое-где просветы неба. В лесу, на Аньге, солнце выхватило как бы широкую чашу. Все остальное в тени. Аверьян поглядывает туда. Это как раз над Колывановым плесом. Он пахнет, смотрит, прислушивается. Нет, выстрелов не слышно.

— А утки в этом году мало, — вслух произносит он.

— Не ждешь?

— Нет.

Перекликаются на ходу. Илья тоже изредка бросает словечко.

Склон темнеет шире и шире. Мирно, тихо, торжественно. «Как в дружной семье», — думает Аверьян.

Илья допахивает свой ремешок и, ничего не сказав, едет на небольшую полосу в углу полянки. Аверьян недоуменно смотрит ему вслед. Иван Корытов, не останавливая лошади, следит за Ильей исподлобья. Продолжают пахать. Потом Аверьян не выдерживает и кричит Илье:

— Ну, как тут?

Илья отвечает неохотно:

— А худо, земля по плугу не ползет.

Он злобно хлещет лошадь.

«Так тебе и надо», — удовлетворенно думает Аверьян.

Илья уезжает домой, оставив недопаханный маленький клинышек. Аверьян с Иваном заканчивают склон, измученные и злые.

— Надо это срезать, — говорит Иван, кивая на клинышек, оставленный Ильей.

— Да. Должно быть, устал Илья, не осил.

Иван молчит.

Аверьян моложе его, сильнее. Он без разговоров едет допахивать клинышек. Лошадь идет по борозде, как без упряжи. Можно совсем не держаться за плуг. Земля как бы совсем не касается лемеха. Она поднимается слева вкусными пышными рядками. Лемех сияет ослепительно. Аверьян не замечает, как клинышек уже весь вспахан. Он догоняет Ивана Кобытова у самой деревни и рассказывает ему о своем открытии.

Иван смотрит на него с хитрой усмешкой.

— Он человек занятый. Ему надо все поскорее да полегче...

Глава тринадцатая

Аверьян допоздна в сельсовете. Дома уходит в заднюю избу, сидит над книгой. Иногда помогает в работах: сушит овин, рубит в овраге ольховые дрова для теплицы. Эту работу он особенно любит. Мягкое розовое дерево обнажается под топором с аппетитным хрустом. Ольховые дрова жарки, горят тихо, как тают—ни одной искорки.

Аверьян рубит и складывает дрова в большую кучу на гребне берега.

В овраге, как в большом старом доме, тихо, глухо. Кустарник становится прозрачным. Аверьян видит в нем пролетающих диких голубей, видит вдали развалины старого дегтярного завода. Как хорошо, что сюда никто не ходит!

И вдруг около завода показывается человек. Аверьян узнает Илью и перестает рубить. Илья

идет по берегу и рассматривает поле. В руках у него обротъ. Он видит Аверьяна и останавливается.

— Сколько тут олешнякуросло, — говорит Аверьян.

— Олешняк тут расти любит, — думая о чем-то другом, отвечает Илья и медленно спускается в овраг. Он садится на камень у самой воды и смотрит на Аверьяна в упор. — Слышал?

У Аверьяна сжимается сердце.

— Нет. Ничего не слышал.

— Германия объявила войну Польше.

Они принимаются обсуждать события.

— Надо будет исправить в сельсовете радиоприемник, — говорит Аверьян.

— Да.

Илья не уходит. Аверьяну становится неприятен его пристальный взгляд. Он принимается за работу.

— У нас к тебе будут вопросы, — говорит Илья.

Аверьян опускает топор и стоит, отвернувшись.

— Дело-то получилось неладно. Ты сколько-нибудь об этом думал? В своей семье у тебя безобразия, да еще и другим жить мешаешь!

Аверьян все молчит. Илья повышает голос.

— Мы тебя прорабатывать будем!

— Что же, если заслужил, — разбирайте.

— Как ты отвечаешь! — кричит Илья. — Разве так говорят, когда вопрос идет о поведении партийца!

Аверьян видит, что Илья чем-то сильно раздражен, и просто отвечает:

— Сейчас я никакой вины за собой не чувствую.

Илья усмехается.

— Рассказывай это какой-нибудь тетке, а я старый воробей...

Аверьян свирепеет:

— Я тебе говорю правду! Что ты какой Фома Неверный!

Илья, как бы не слыша этого, продолжает:

— Больно возгордился. Одернем. Мы тебе для начала выговорок привесим.

Аверьян бросает топор и кричит:

— Уйди! Пришибу!

Становится тихо. Илья тревожно следит за Аверьяном. Потом с усмешкой говорит:

— Вот тут и воспитывай.

Аверьян далеко отбрасывает сучья, перекидывает через ручей стволы. Из-под его ног в воду осыпается земля.

Илья, не торопясь, поднимается из оврага.

Постепенно Аверьян успокаивается. Он немного устал. Садится на ворох сучьев курить. Сумерки опускаются тихие и влажные. В лесу слышится запоздалый лай собаки. Теперь немного освободился с работой, можно по утрам ходить в лес. С завтрашнего дня, пожалуй, можно начать.

Когда он поднимается из оврага, в поле уже совсем темно. Собаки в лесу не слышно. В деревне огни. Он идет на них по кустам можжевельника. Где тут искать тропу!

С краю деревни — крохотная пустующая избушка старого пастуха Ивана. Теперь в ней огонек — живет Настасья. Он останавливается на дороге, с полминуты смотрит на огонек и

быстро уходит. Но уже у самого своего дома он вдруг начинает раскаиваться в том, что не посмотрел, как она живет. В этом не было бы ничего особенного. Можно было даже зайти и посидеть немного на лавке.

Он приходит домой, раздевается, садится к столу и все думает об этом. Теперь очень трудно будет подобрать случай заглянуть к ней: днем не пойдешь, а вечером надо идти нарочно в тот конец деревни, обязательно увидят — так уж всегда бывает. В конце концов, почему он не может зайти к ней просто, как ходит сосед к соседу, сказать слово утешения, может быть, даже в чем-то помочь? Потом его начинает раздражать это. Нужно было пройти мимо!

После чаю он готовит на завтра патроны, потом делает в тетради фенологические записи о бабьем лете, и всчер кое-как проходит.

Утром он идет на колодец за водой и смотрит, какое поднимается солнце. Солнце совершенно багровое. Над самым горизонтом — пухлые дождевые облака. Это хорошо, дождь нужен.

В сельсовет еще рано. Аверьян идет поправлять на гумнах крыши. Все старое, надо бы напилить тесу, подновить.

Так он подходит к последнему гумну на берегу Аньги. Внутри гумна трещит «триер». У самых ворот на бревне лежит чей-то серый платок и синяя Настасьина кофта. Он заглядывает в ворота. С ней работает Устинья. Все покрыто пылью и золотистыми осколками соломы. У женщин видны одни зубы. Они опускают ручки «триера» и начинают вытирать лица.

— Здравствуйте! — говорит Аверьян и заботливо осматривает крышу. Да, здесь тоже большие щели, но желоб еще хорош, просто сдвинуло ветром. Он лезет на полати и начинает снизу поправлять желоба. Устинья и Настасья молчат, поглядывая на него. Он тихонько пошвыстывает. Долго хозяйским глазом осматривает крышу, хотя там уже исправлено все.

— Да что эдак уж не поговоришь-то с нами? — замечает Устинья.

— С вами-то? (Он продолжает трогать желоба.) Вот как-нибудь в свободное время...— Потом, продолжая рассматривать крышу, добавляет: — Шла бы ты, Устинья, в сельсовет сторожикой? Замени старика-то!

— В сельсовет?—переспрашивает Устинья.— Дай подумать.

— Ну, подумай.

Он слезает.

— Пыли в этом году много.

— Да.

Пыль у них на губах. В пыли ресницы.

— Ну, работайте, — говорит он.—Теперь вас не обмочит.

Он выходит из гумна и крепко прикрывает за собой ворота. Потом он роняет из рук варежку, наклоняется за ней и трогает кофту Настасьи. Кофта теплая от солнца.

По полю идет Макар Иванович. Они встречаются.

— Осмотрел крыши, — говорит Аверьян.

— А! Кто на том гумне работает?

Аверьян называет. Потом, отвернувшись, дополняет:

— Зашел на одну минуту, желоба два покра-
вил.

— Так.

Ему кажется, что Макар Иванович не верит. Лицо председателя становится суше, строже. Но это только на полминуты.

— Вот Настасья, — говорит Макар Иванович. — Что она у нас как-то между рук? Ведь пять групп кончила. Надо заставить обучать неграмотных. Да мало ли дел!

Аверьян молчит.

— А я вот что сделаю, — сразу решает Макар Иванович. — Пойду-ка я и потолкую с ней сейчас.

— Что сегодня в газетах? — не отвечая, спрашивает Аверьян.

— Взят немцами Львов.

Они расходятся.

Потом, в сельсовете, Макар Иванович сообщает:

— На самом деле, мы не видим людей. Знаешь, Настасья сегодня придет на заседание культсекции! Да как она обрадовалась!

Макар Иванович довольный ходит по комнате.

Аверьян молчит. Теперь он должен будет с ней встречаться.

Вечером Настасья приходит к Макару Ивановичу. Босиком, на плечи торопливо накинута серый платок.

Сидят перед лампой, беседуют о делах.

Макар Иванович, как бы между прочим, замечает.

— Собираются к Устинье бабы. Шуму, криков у них много, а хорошего мало. Тут и сплетни, иногда и ругань. Что бы такое придум-

мать? А? — Соцтурившись, он смотрит на Настасью. — Я все хотел зайти к ним, да вот видишь как! Только из сельсовета...

Он заглядывает в портфель.

— Вот тут в «Известиях» есть и статейка-то интересная — «Конец хуторам». Не знаю, как быть?

— Я давно не читала вслух, — говорит Настасья. — Отвыкла.

— А ведь торопить тебя никто не станет.

Настасья еще с минуту стоит у стола, вертит в руках газету, потом уходит.

Она осторожно пробирается в темноте краем канавы. Всюду огни. Дорога в робких полосах света. От окна до окна, как по ступенькам.

«А если ничего не выйдет, — думает Настасья, — что же, больше не заставят!..»

Но сразу же ее охватывает страх. Только так — чтобы вышло! Иначе не должно быть. За этим приходила к Макару Ивановичу...

Настасья торопится, натывается на репей, попадает в грязь и, подобрав юбку, прыгает через канаву.

В избе Устиньи шумно. Настасья идет по лужку и слышит голос Павлы Евшиной:

— Азыкин, говорят, от кооперации жить наладился.

Настасья топает по ступенькам крыльца. В избе становится тихо. Она решительно открывает дверь. Бабы сидят по лавкам с прялками, с клубками ниток.

— Мир беседе вашей! — говорит Настасья и с улыбкой осматривает баб. — Подслушивать не хотела, а слышала... Павла! Ты напрасно в чу-

жом доме считаешь. Узнает Азыкин, он за клевету тебя сразу в суд.

Никто ни слова.

Павла сидит у стола неподвижно. Маленькая, круглая, с беспокойными зеленоватыми глазами.

Все выжидательно посматривают на нее.

Павла не выдерживает, не глядя на Настасью, говорит:

— Тебе, матушка, лучше знать. У тебя с Азыкиным лен не делен.

Устинья склоняется к темному стеклу.

— Какая темень! Плохо тому, кто сейчас в лесу аль в дороге.

Говорят о трудностях в пути, о страхах, о том, где кого пугало.

Настасья ждет удобного момента, но все не может решиться и прячет газету подальше на груди. Как они посмотрят? А вдруг все повернут на смех?..

К ее удивлению, женщины принимают это спокойно.

Устинья говорит:

— Ты возьми и почитай, а мы послушаем...

Настасья часто появляется в Костиной горке. Она знакомится со всеми учителями и учительницами. К самой молодой — Нине Яковлевне — идет пить чай.

Она занимается с неграмотными.

Теперь по вечерам ее не застанешь дома. Внучка Онисима, Катька, остается с ее сыном.

Бабы, которых она обучает грамоте, говорят про нее:

— Настасья! А чего она не сумеет?

Вавила снова работает на дороге. Он приходит в деревню все реже и реже. Избегает встреч. Никто не знает, что с ним. Мать на вопросы соседок говорит:

— У всех все бывает.

И ее не переспрашивают.

Старуха ходит на работу. Теперь ее ничто не держит. Помогает складывать в ометы солому, стелет лен. Приходит навестить внука. С Настасьей не говорит. Онисимова внучка Катька служит у них для связи. Старуха выходит с ребенком на улицу, сидит на канаве, а то уводит парнишку к себе и поит чаем. Когда ей нездоровится, она не отпускает внука от себя. Тогда Катька уходит домой, и крохотная изба Настасьи на запоре.

Старуха видит, какой веселой стала сноха. Когда в сельсовет прибывает кинопередвижка, она тратит на билет последний рубль. Ее не удержишь дома. Если она не идет в Костину горку, идет с молодыми бабами к девчатам на поседку. Стоят в углу, шепчутся, посматривают, как девки пляшут, шутят с ребятами, бывает, что попляшут и сами.

Однажды Вавила, возвратившись в деревню, вышел из дому и направился в Настасье. Павла Евшина сразу нашла дело к Настасье, тоже покатила туда горошиной и даже опередила Вавилу. Поджав на груди руки, она сидела в уголке, подслеповатые глаза сощурены, лицо серьезное.

Вошел Вавила. Он посмотрел прежде всего на Павлу, и Павла сжалась: она только сейчас поняла, что Вавила пьян, сразу начала отступать и робко заговорила:

— Пришла, думала, нет ли у тебя квасу.

— А! — крикнул незнакомым, хриплым голосом Вавила. — Квасу захотела!

Павла похолодела и засеменила к двери.

— Сиди! — приказал Вавила. — Сейчас я тебе ноги выдергаю.

Скромный, рассудительный Вавила был неузнаваем. Его никогда не видали таким пьяным. Павла не предполагала, что пьяный он может быть так страшен. Глаза у него красные, борода спутана, рукав рубашки порван. Как она могла оказаться такой душой!

— Да нет, уж я пойду, — сказала Павла. — У меня там в баню собираются.

— Сиди! — повторил Вавила.

Павла села, как на горячие уголья.

Он был так непохож сам на себя, что даже Настасья не могла опомниться, смотрела на него большими глазами и не находила, что сказать. Как может измениться человек!

— Ты бы сел, — мягко сказала она. — Что уж эдак вздумал напиться-то. Кого этим удивишь?

Он сел на лавку, навалился грудью на стол и закрыл лицо руками.

— Вернись, — тихо проговорил он.

Павла в углу начала всхлипывать.

Настасья стояла у шестка опечаленная.

— Иди проспись, — посоветовала она. — Я так с тобой не могу разговаривать. Все равно ты меня сейчас не поймешь.

— Не вернешься?

— Нет. К этому ты должен привыкнуть.

Тогда он поднялся и, натыкаясь на скамейку, на угол печи, пошел из избы. Он вышел и забыл закрыть за собой дверь.

Дома он поставил на стол пол-литра и один, в тишине, начал пить водку стаканами. Мать с ужасом смотрела на него из-за переборки и боялась что-нибудь сказать.

Потом он начал говорить сам с собой. Наконец, стал покрикивать, осмотрел избу, посмотрел на мать, не узнавая ее, вскочил и побежал из избы. В дверях он упал, до крови разбил лицо.

Мать поспешила к Илье; когда она возвращалась вместе с Ильей, в огороде раздался выстрел. Она схватилась за сердце и упала. Илья поднял ее и потащил к изгороди. Вавила стоял у бани, босой, без рубашки. В руках у него дымилось ружье. Он выстрелил вверх. Сбежался народ. Бабы стояли за изгородью и перешоштывались. Илья хотел увести его домой. Вавила в упор посмотрел на Илью, потом поставил ружье к углу бани и сказал:

— Это ты, старый воробей? Сейчас я сделаю из тебя ворону!

Он навалился на Илью. Вскрикнув, Илья упал. Вавила схватил его за ноги и начал таскать по грядам. Мальчишки за изгородью подпрыгивали и взвизгивали от восторга. Выручать Илью полезли мужики, но Вавила сам выпустил его и, больше не обернувшись, зашагал в избу.

Илья поднялся весь в земле. Земля у него была в бороде, во рту, за рубашкой. Он плюнул, злобно осмотрел собравшихся и ушел.

Мать осторожно открыла дверь. Вавила, припавший, сидел у стола. Она достала из сундука чистое полотенце, обтерла на его лице кровь,

потом села рядом, тихонько гладила его по голове и шептала:

— Ну вот, все и прошло. Вот и ладно. Какой ты глупый...

Глава четырнадцатая

Настасья теперь чаще попадается навстречу. Он приходит к Ваське Хромому, садится к среднему окну, откуда виден крохотный пастухов домик, и вдруг приходит она. Стоит у двери, говорит громче, чем следует. Разбили молодые бабы лампу, теперь не с чем заниматься по вечерам.

— Да как успехи-то? — с улыбкой спрашивает Васька. — Читать-то научила?

— Плохо.

Иногда в избу, где она занимается с неграмотными, заглядывает учитель Константин Петрович. Она шутит с ним, рассказывает о своих неудачах. Константин Петрович находит, что дело у нее идет неплохо.

Она ходит в клуб на игры, на спектакли. Играет сама. Однажды после работы Аверьян проходит мимо клуба и в темноте сеней слышит ее голос. Потом второй, тоже молодой, женский. Он входит в сени, и обе убегают.

Только что кончилась репетиция. В длинном коридоре клуба полумрак: под потолком тусклая лампа. Настасья стоит у стола. Вторая женщина куда-то исчезла. За дверью в конце коридора оживленный говор.

— Пойдем, сядем на лавочку? — говорит Аверьян.

Она не отвечает.

— Ты не хочешь посидеть рядом?

Она оглядывается на двери и идет с ним в угол, к окну.

Аверьян хочет положить ей на плечо руку. Она скидывает ее.

— Зачем? Говори так.

Он не может побороть волнения и долго сидит молча.

— Домой вместе?..

— Ни за что!

— Значит, у тебя ко мне ничего нет и не было.

Настасья отвертывается. Он не видит ее лица. Потом она тихо произносит:

— Тебе лучше об этом не думать.

Он смотрит на нее со страхом.

— Ведь тебе теперь ничто не мешает!

— Все равно. Это не так просто. Уйди! Успокойся. Зачем опять начинать все снова? Я тебе ничего не скажу.

Она уходит, оставив его в великом горе.

Когда собираются все участники спектакля, Константин Петрович предлагает поиграть в «третий лишний». Все встают парами один за другим. Третий должен встать впереди какой-нибудь пары, и тогда задний оказывается лишним. Человек, ходящий вокруг, бьет по спине третьего лишнего, начинается беготня, смех.

Аверьяна тоже просят играть. Он долго отказывается, потом встает и делает все как другие: бегают, ловят, смеются, но никого кроме Настасьи не видит.

Вот она встает впереди него, обертывается и шепчет:

— Не будь таким. Все замечают. Что ты какой чудной...

Улыбается ему. Потом сразу становится строгой и весь вечер не подходит близко. Аверьяну кажется, что он видит ее в последний раз.

Он выходит из клуба и слышит сзади ее голос. Она вместе с Нефедовой молодухой. Обе, крепко держась в темноте друг за друга, шмыгают мимо. Настасья задевает Аверьяна плечом.

Он стоит у роши, пока слышны их голоса. Потом заходит в сельсовет и тяжело опускается к столу.

Онисим вот уже с неделю как в лесу. Вместо него сторожихой Устинья.

Устинья с тревогой подсаживается к Аверьяну.

— Опять чего-то задумал.

Он поднимает голову. Устинья отводит глаза.

— Получилось совсем нехорошо, — говорит она. — От баловства дело дошло до большого. Совсем этого не думала. Потакала обоим.

Устинья садится рядом с ним и тихо продолжает:

— Где ты ищешь чужое? Для чего...

Аверьян молчит.

— Вашему брату все как с гуся вода. Вам и раньше легче было. С работы пришел: попил-поел, завалился. А матери все покою нет. «Чего не спишь! Камни бы ворочала, переворачивала, а вас не переворочаешь никак. Камни ворочаешь — они молчат, а вы все орете! Дрыхни!» Не дрыхнет... Так от них, от ребят, устанешь — куда ни ляг, хоть на голую доску, все притягивает. Дочь умерла. Рано утром надо хоронить, а я так устала, все сплю и сплю...
Свекровь: «Устинья, встань, простись с девкой-

то, ведь больше не увидишь...» А я сплю и сплю. Растолкает, открою глаза, мне совсем свет не нужен. Тяжело мне их открывать. И все бы я лежала навзничь. А нового ждешь, и сердце болит: какой будет, что тебе даст... Один раз ребенка на пути родила. Из Подосенок с ярмарки шла. Были вдвоем с подругой Митревной. Отошли версты четыре. Я остановилась. «Что ты?» — «А ты не знаешь?» — «Пойдем, пойдем скорее!» — «Нет, придется разве дойти до того камня». Я почему-то наде- ла шубу овчинную. Апрель. Снег мокрый, во- да-то бежит. Только я легла — ребенок тут. На мне две юбки. «Завертывай ребенка, клади на меня и увертывай полами меня и ребенка». Слышим — идут. «А если мужики?» — «Все равно. Нужна помощь». Идут два мужика. «Спа- сите, не дайте душе погибнуть!» Один выпив- ши: «А что нам?» — «Как что? Ночь! Ведь меня на дороге разъедут. Ты постой около меня, а она в больницу сходит». Другой говорит: «А тебя можно одеть? Тебе холодно?» — «Да, хо- лодно. А чем тут можно одеться!» Он снял чер- ной дубки шубу и одел меня. Окрыл, как одея- лом, этой шубой. «Ничего, я тебя шубой?» — «Хорошо. А тебе как же?» — «Я в теплой ру- башке». Когда он меня одел, моя сопроводни- ца говорит: «Тогда я пойду в больницу». Тот, выпивший: «И я с тобой». — «Хорошо. А ты стой возле нее!» В больнице одна акушерка. Он акушерку разбудил. Сторожа нашли. Аку- шерка принесла пеленок, ножницы, питки. «Где ребенок-то?..» Прохожий взял свою шубу и понес меня на носилках на перемену с дру- гим. «Спасибо. Как тебя? Как молить-то!» —

«Если жив — дай бог здоровья, если помер — царствия небесного». — «С какого прихода-то? Откуда?» — «Не все равно?..» Девочка сытенькая, покойная. Я боялась — не задушить бы. Глядела, шупала, хватит ли воздуха? Когда стали завертывать, она запицала. «А что раньше не кричала? Сейчас ничего. Сейчас я тебя возьму!» Потом мне стало хуже и хуже. Меня в кирпичный барак хотят нести. Пригибает меня к мертвой постели. А как очнусь, сразу: «Что с ней? Жива?» — «Жива, жива, успокойся».

Аверьян смотрит на Устинью с нежностью. Ему вспоминается больная мать.

Мать! Мучительно и неустанно она думает о тебе. Она всегда тут, с тобой, в твоей печали, в радости и в терпении. Она ничего не оставляет про себя. Все это тебе, потому что ты растешь, ты можешь стать хорошим человеком. И вот ты встал на свои ноги. Вся земля перед тобой открыта для жизни, для подвигов и познания. Ты идешь по земле, и мать следит за тобой. Ты живешь где-то на другом конце света. У тебя уже борода, плечи твои немного согнулись, ты в семье, в новом кругу — все забыл, ты иногда уже стыдишься произнести слово: мама. Но вот после многих лет приходит письмо, и в конце его стоит слово: мать. Она разыскала тебя, потому что нежность ее к тебе все та же, как в то время, когда ты был совсем маленьким.

Вот она вошла в дом, и все ожило под ее ласковыми, умелыми руками. В доме стало тепло, всюду появились милые вещи. Тысячи мелочей, которые не имели значения, вдруг обре-

ли утраченные краски и запахи и наполнили твою жизнь.

Она как бы вновь пришла на землю. Пришла уставшая, робкая и оглянулась. Родина ее полна света. Теперь тут все другое. И вдруг снова на этой земле у тебя, в твоём доме, становится темно, и снова плачет мать, как раньше. Снова не слышит она ни шума берез под окном, не видит ни первой зелени лугов, ни голубого неба.

Аверьян чувствует стыд. Как он не думал обо всем этом раньше?

— Будет, пошалил, — говорит Устинья.

— Да, да, — бормочет Аверьян и выходит.

Деревни притихли, совершенно спрятались во мраке. Поют полночные петухи.

«Куда зашел!» — думает Аверьян. Он старается представить, как будет рада Марина, когда он скажет: «Не беспокойся, я никуда теперь от вас не уйду. Давай все забудем...» Но эта мысль не приносит успокоения.

Он шагает, не разбирая дороги. Вот и деревня. В окнах его избы слабый свет. Еще пройти три дома... Он останавливается, потом быстро сворачивает в первый попавшийся проулок и направляется в поле. Ноги его вязнут в свежей пашне. Он долго ищет тропу и, не найдя ее, бежит по полосам. Полосы кончаются. Наугад, через ольховые кусты и огороды, он выходит на край деревни к избе Настасьи. Нигде никого. Он крадется по изгороди палисада, заглядывает в проулок и на крыльце смутно видит качнувшуюся белую фигуру.

— Настасья! — произносит он.

Не отозвавшись, она исчезает. За ней хло-

пает наружная дверь. Аверьян бросается на крыльцо и слышит в сенях ее дыхание. С минуту они стоят, не произнося ни слова. Потом скрипит дверь в избу, и все стихает.

Утром Аверьян собирается с Аленкой в лес пилить сушник.

Он рассеян. Невесело посматривает на дочь. Какая она стала большая. Так наверно теперь и будет все время дуться на него...

Светает. Виднеются неясные очертания гумен.

Шагают молча. Аленка задумчиво смотрит перед собой.

Он говорит с легким укором:

— Что не писала зимой?

— Уроки. Школьные спектакли. Некогда.

— На кого думаешь учиться?

— Хочу быть геологом, — уверенно говорит Аленка.

То, что она решила это про себя, никого не спрашивая, и радуется и немного обижает.

«Да, в ее дела теперь уж не суйся. Это раньше все у отца спрашивала».

— Давно надумала?

— Да еще прошлый год. Посоветовалась с учителем и решила.

Сердце Аверьяна сжимается.

— Так, так...

Аверьян не может больше говорить: отвернувшись, идет сзади. Как нехорошо, когда так оборваны кусты! Пестро, а все равно тетеревов в вершине рассмотришь не сразу.

— Что же, наверное там с учителями иногда

разговор и об отце пойдет? Кто такой? Как так?

— Да нет, никто не спрашивает...

— Вот что. Так и не приходилось ничего обо мне? Скажем, на собрании или на квартире?

— Нет...

Они заходят в лес, начинают спиливать сушину, и Аверьян все вспоминает о том, как хорошо беседовали они с дочерью раньше. От той Аленки за два года осталось мало. Правда, она жива, любознательна, но это только без него. Стоит появиться отцу, и живость Аленки пропадает.

«Тут уж, видно, ничего не поделаешь», — печально думает он.

Аленка мало сидела дома. Трепала с бабами лен, помогала убирать с гумна солому. Вечерами гуляла с подругами по деревне. Аверьян часто слышал ее голос.

Один раз Аленке пришлось стоять рядом с Настасьей на омете соломы. Обжимая пласты, они близко подходили друг к другу, и Аленка не смотрела на Настасью. Она даже стала немного печальной потому, что ясно видела: бабы наблюдают за ними. Веселая, находчивая, она сейчас не знала, как себя вести, и раскаивалась, что так необдуманно залезла на омет.

— Наплюй! — услышала она шопот Настасьи. — Пускай смотрят, насматриваются.

Аленка несмело подняла голову, уловила нежность в глазах Настасьи, почувствовала это и в ее движениях и улыбнулась. Неловкость сгладилась.

Работать с Настасьей было легко. Сильная

и ловкая, она еле касалась граблями пластов Аленки, и пласты ложились на место как бы сами собой.

Аленка украдкой осматривала ее.

«Мама так не сможет», — думала она.

— А школу кончишь, потом куда? — спросила Настасья.

— Потом дальше.

— Хорошо, — вздохнула Настасья.

Когда у омста что-то замешкались мужики, подававшие солому, Настасья приблизилась к Аленке и поправила воротничок ее кофточки.

— В городе-то не тосковала?

— Нет, там было много подружек.

— Да уж ты найдешь...

Вечером, встретив Аленку на деревне, Настасья хотела снова поговорить с ней, но Аленка отвечала неохотно. Потом заторопилась, ушла. Больше Настасья не старалась встретить ее.

Глава пятнадцатая

Когда он берет ружье, Зорька забывает годы. Она припадает к полу, вертится на месте и лает так, что Марина затыкает уши.

— Будет уж!

Они идут тихим полем. Пахнет дымом печей и оголенными хмельниками.

В тени совсем белая трава.

Да, вот уже иней, скоро начнет сесть белка.

Он идет через Марьин поток. Эти полкилометра кустами — сплошное мученье. Тетерева срываются со всех сторон ежеминутно. Они с

Зорькой растерянно провожают их взглядом: этого с подхода не убьешь...

Вот наконец отчетливый шум сосен на опушке.

— Ну, старая, ищи!

Он может сутками бродить по лесу, перелезая через валежины, продираться в чапыжнике, пахнущем землей и зверем.

Макар Иванович с завистью поглядывает на него.

— Нет, опять завтра не смогу, — говорит он. — Может быть, в выходной.

Настает выходной. Он бежит к Аверьяну.

— Слышал? Вчера машина Ребринского застряла на промостке у Михеевой пустоши! Надо собрать дорожную секцию.

— Да. Ребринский в сельсовете не был?

— Нет. Специл. Встретил я его у плотов. Спрашивал про тебя: как работает, учится ли?

— Вот как! — радостно говорит Аверьян.

— Так вот, брат, иди опять без меня...

И Аверьян уходит.

«Вот уж завтра я его вытащу», — решает он. И на следующий день является к Макару Ивановичу еще в потемках.

В избе тихо. Потрескивает в печи.

— Спит?

Ему никто не отвечает. Он смело заглядывает за переборку. Макар Иванович сидит, облокотившись на стол. Только что встал, хмурый.

— Ну, пошли, — весело говорит Аверьян.

— Нет, не хочется, — отвечает Макар Иванович и не смотрит ему в глаза.

Аверьян садится к окну.

— Что-нибудь неладно?

— На тебя есть заявление Ильи. Мы должны разобрать. Дело серьезное.

Аверьян молчит.

— В 1938 году, во время пожара на Федоровом болоте, ты где был?

— Не помню. Для чего это надо?

— 26 и 27 июля как раз перед пожаром и в день пожара ты был в лесу. Тушить не помогал. После этого ты три дня пьянствовал со своим шурином Игнашенком, врагом народа.

Аверьян не может ничего сказать.

— Всего этого я не знал,—с укором говорит Макар Иванович. — У тебя не одну ночь ночевал диверсант Шмотяков. Пока тебя ни в чем не винят, но сам понимаешь — надо выяснить. Кроме того, Илья требует разобрать дело с семьей Вавилы. Семью-то ты разбил.

Сидят в тишине. В сенях Зорька скребет дверь лапами.

Макар Иванович направляется к умывальнику, и Аверьян чувствует, что говорить с ним он больше не станет. Он возвращается домой, ставит ружье на место и идет в сельсовет. Зорька неуверенно провожает его до гумен.

Собираются, как всегда, в кабинете Макара Ивановича. Запоздывает Илья. Сидят, вполголоса беседуют. Это заседание неожиданно и неприятно. Илья заходит среди полной тишины. Уверенно, размашисто шагает к столу и садится рядом с Азыкиным. Из кармана у него торчит тетрадь.

Пока Макар Иванович читает длинное заявление Ильи, все сидят, опустив головы. Один Илья смотрит прямо, открыто. Он сощурился

от напряжения, старается не пропустить слова. Потом густым голосом произносит:

— Ты напрасно проглатывал слова, может быть не всем товарищам понятно?

Все молчат.

Илья берет слово и рассказывает несколько шире все то, что было в заявлении.

— Давай, Аверьян, отвечай на все, — просит Макар Иванович.

Аверьян долго не может овладеть собой.

— Я вижу, в чем меня подозревают, — говорит он. — Но я вины не чувствую. Не знаю, что рассказывать. Спрашивайте...

Он садится.

— На какие деньги ты купил прошлый год двуствольное ружье? — спрашивает Илья.

— Ну, на какие...

Вопрос неожиданный. Аверьян не знает, что ответить. Это были деньги, накопленные экономией от жалованья, самоотверженно сберегаемые в течение двух лет. О них даже Марина не знала. Ружье спилось ему. Всякая денежная трудность наполняла его страхом за эти деньги. Когда, наконец, ружье было куплено, то он даже болел несколько дней. Он всегда будет благодарен Марине, настоящей жене охотника, она поняла его.

— Я накопил эти деньги, — говорит Аверьян.

— Вот что! — насмешливо замечает Илья и достает тетрадь. Там у него записаны все расходы и доходы Аверьяна за два года. Он доказывает, что накопить столько денег Аверьян никак не мог. Семья, да еще дочь учится в районном городе...

— Так постой, — перебивает Илью Азыкин. — Что ты этим хочешь сказать?

— А вот что, — спокойно продолжает Илья, откидывает на всю длину левой руки тетрадь, в правой держит очки и сквозь них читает:

«16 июля 1938 г. у Аверьяна Чуприкова ночевал диверсант Шмотяков. В дальнейшем эти ночевки повторяются...»

Илья закрывает тетрадь.

— Я не стану рассказывать, все помнят, какая дружба была у Чуприкова с этим «ученым». Вино вместе пили? Пили.

Неожиданно поднимается Аверьян. К нему все повертываются.

— Об этом я должен сказать. Все это верно. Только дружбы у меня со Шмотяковым не было. Он не один раз начинал со мной разговор о деньгах, о недостатках, но ничего мне не предлагал. После его ареста я вспомнил эти разговоры. Кажется, кому-то еще рассказывал, ничего не скрывал.

Илья с негодованием указывает на него.

— Сначала ни в чем не хотел сознаваться. — И грозит пальцем: — Рано начал хитрить.

Потом Илья обращается к собравшимся:

— Мы любим либеральничать. Сейчас-то хоть, по крайней мере, надо заняться. Ведь стен стыдно!

— Аверьян, что ты на это скажешь? — не смотря на Аверьяна, спрашивает Макар Иванович.

— Мне нечего объяснять. Деньги накопил. Со Шмотяковым дружбы не было. С Игнашенком, правда, пил... Был такой грех.

— Перед пожаром и в первый день пожара ты где был? — спрашивает Илья.

— Был на охоте.

— Где ночевал? В охотничьей избушке?

— Нет. Одну ночь ночевал под елкой, на другую затемно пришел в деревню.

— Почему не ночевал в избушке вместе со всеми?

— Так вышло.

— Ты был один?

— Нет, не один.

— С кем?

Аверьян молчит. Все напряженно ждут.

— Сам не знаю,—говорит Аверьян.—Чей-то шихаиовский охотник. Попал в Пабережский лес случайно. Шел по просеке, да сплутал. Вышел туда. А потом понравилось. У вас, говорит, птицы много. Из какой деревни, я так и не спросил. Забыл, как и звать.

Илья осматривает всех с усмешкой и садится.

— У меня больше вопросов нет.

Выступает Азыкин.

— Тут товарищ Евшин столько наговорил, что если бы все это подтвердилось, нашего кандидата надо прямо вязать!

Кое-кто улыбается. Илья, упершись обеими ладонями в колени, снисходительно слушает.

— Форма, к которой прибегает Евшин, мне не нравится,—говорит Азыкин.—Мы еще не знаем, насколько и в чем виноват Чуприков, а уж вопросы ставим нехорошо. Я бы сказал, влорядно, как настоящему врагу.

— Товарищи, — вмешивается Илья, — может быть, мы попросим у Аверьяна Чуприкова извинения за беспокойство?

Все начинают шуметь. Азыкин смотрит на Илью с нескрываемым презрением. Илья улавливает его взгляд, и на лице у него выступают багровые пятна.

— Считаю, что такой тон разбора дела недопустим, — продолжает Азыкин. — Заявление Евшина, по-моему, носит склочный характер.

Илья внешне спокоен. С его губ не сходит снисходительная улыбка. Он поднимает руку.

— Товарищ председатель, разрешите. Вот сейчас тут мы слушали, так сказать, оратора, говоруна. Нам так не сказать. Но мы и в семнадцатом году не красно говорили, а ведь революция-то все-таки победила! Позвольте, товарищ Азыкин, вы кто будете? Представитель райкома, прикрепленный? Разрешите вам заявить, что вы плохой представитель! Вот меня интересует, вы какого года рождения? Так. Значит, вы живого городского не видали. Нет, вы ошибаетесь, это не все равно. Да, вы никуда не годный представитель. Может быть, вас тут не знают, а я знаю. Вы когда-то были троцкистом...

— Врешь! — стремительно поднимаясь, кричит Азыкин.

Илья с усмешкой осматривает слушателей и спокойно достает тетрадь. Он открывает ее на той странице, где у него какая-то наклейка из газеты, и читает:

«Г. Возвышаев, П. Пенкин, Т. Азыкин — собирались тайком в приделе церкви Покрова богородицы. Все методы их работы носили явно троцкистский характер. Фракционность...»

— Это клевета! — кричит Азыкин. — Негодяй, как ты смеешь читать старую газету!

Илья недоуменно осматривает собравшихся.
— Товарищ Азыкин, — смущенно говорит
Макар Иванович, — пожалуйста, ведите себя
как следует.

Азыкин поднимается и, заикаясь, с красным
лицом, объясняет, что вся заметка от первой
до последней строчки измышление человека,
который давно арестован.

Его слушают внимательно и, кажется, верят,
но чуждость остается.

Илья с сожалением посматривает на него.

— Мы отвлеклись от дела, — говорит Макар
Иванович. — Разбирается поведение Аверьяна,
а не товарища Азыкина.

Он строго смотрит на Илью и стучит по сто-
лу карандашом.

— Сядь!

Илья удивленно раскрывает глаза, поверты-
вается к нему и, как бы не поняв, к кому это
относится, продолжает рассматривать Азыкина.
Потом он снова выступает:

— Может быть, товарищи, кое-кто считает,
что некоторые вопросы нужно сейчас обойти.
Нет, мы, большевики, не привыкли увиливать
от прямых вопросов. Мы не боимся говорить
прямо. Разбил Аверьян у Вавилы семью? (Ва-
вила, сидящий в углу у печки, морщится.) Да,
разбил. Все запачкал, испортил, осквернил. А
мы его весной принимали в кандидаты, хотели
сделать из него коммуниста! У меня, товари-
щи, иногда были даже такие мысли. Не затем
ли Чуприков хотел и в партию вступить, чтобы
не казаться ниже Вавилы? Вот, мол, смотри, На-
стасья, — я тоже могу быть партийцем, гля-
дишь — через год куда-нибудь продвинут!..

Аверьян вскакивает с поднятыми кулаками. Азыкин едва успевает схватить его за плечи.

Илья стоит, шурится и выжидает.

— Что такое? — с укором произносит Макар Иванович.

Вавила мрачно говорит:

— Прекратите это все.

Все умолкают. Илья быстро листает тетрадь.

— У вас ничего не подготовлено, — говорит Вавила. — Все неясно. Надо разбираться снова.

— Правильно, — соглашается Азыкин.

Всем становится легче, начинаются разговоры вполголоса. Илья, не прося слова, подходит к столу и раскрывает тетрадь.

— Садись! — уже кричит на него Макар Иванович и обращается к собравшимся: — Значит, дело надо довыяснить.

Аверьян выходит с собрания вместе с Азыкиным. Он бледен, у него все еще дрожат руки.

— Раз ты прав, значит бояться нечего, — говорит Азыкин. — А с Настасьей? Ты действительно за это не отвечаешь. Кроме того, ведь баба-то выправилась! Вон как она поднялась. И общественница.

Аверьян уходит. Азыкин стоит и смотрит ему вслед.

— Увернулся! — слышится голос Ильи.

Илья идет другим краем дороги.

Азыкин не отвечает.

— Ну, мы его еще просветим, — говорит Илья, останавливаясь рядом с Азыкиным. — А вы, товарищи, напрасно либеральничаете. Смотрите, как бы не пришлось отвечать самим.

— Было бы за что! — недружелюбно отвечает Азыкин.

Илья долго смотрит на него в упор, потом тихо спрашивает:

— Как у тебя закончилось дело с кооперацией в Нижних Слободах?

— Какое?

— Да ведь тебя таскали.

— Как тебе не стыдно! Ведь сам знаешь, что кроме нераспорядительности мне ничего не приписали!

— Ну, ты извини, кое-кто на этот счет другого мнения.

От возмущения Азыкин долго не может ничего сказать.

— Так вот, — как бы не замечая этого, говорит Илья. — Мне уже трое заявили, что ты обещивал.

— Этого не может быть!

— А мы живых людей позовем...

Азыкин никогда этого не делал, но он начинает задумываться: разве не мог ошибиться?

Глава шестнадцатая

На другой день Илья, как всегда уверенный, идет в сельсовет, по пути заглядывает в маслодельный завод, беседует с молодым мастером коммунистом Филей Кротовым.

После его ухода Филя долго сидит озабоченный и притихший.

На реке Илья видит моющую платье Устинью и спускается к ней.

Устинья настороженно повертывает к нему голову, но не разгибается.

— Ну, как жизнь, Емельяновна?

— Ничего, живу.

Тон Устиньи не нравится Илье. Он строго спрашивает:

— Помнится, ты прошлый год с первого дня была на пожаре.

Устинья смотрит на него, открыв рот.

— С каким человеком Аверьян подходил к работающим? Еще посидели они тут с вами. У стариков в избушках были...

Устинья выпрямляется, бросает платье.

— Ничего не помню.

Потом она поспешно, со страхом добавляет:

— Ничего не знаю. Уйди от меня, ради бога. Иди в лес к старикам, те все знают.

Устинья принимается старательно полоскать белье.

Илья злобно следит за ней. Так с ним еще не разговаривала ни одна баба. Он осторожно осматривает по сторонам: никого поблизости нет.

— Письма-то у тебя живы? — спрашивает он.

Белье падает из рук Устиньи.

— Какие?..

— Да ты не притворяйся, будто ничего не понимаешь, — продолжает Илья. — Помнишь, прошлый год Шмотяков присылал тебе из лесу письма?

— Какие это письма? — кричит Устинья. — Там всего три слова: «Купи и принеси хлеба». «Принеси сахару». Вот и все.

Илья грозит пальцем.

— Ну, знаешь, ты это рассказывай вон Катке (по мосту идет внучка Онисима Катька), а меня не обьедешь.

— Да никаких писем не было! — со слезами

на глазах кричит Устинья.—Ты, калабаха, меня еще куда-нибудь впутаешь.

Катька останавливается у перил.

— Не кричи, — злобно шепчет Илья Устинье. — И помалкивай. Я не говорил — ты не слыхала. А помнишь об этом — помни...

Он откашливается, делает веселое лицо и выходит на дорогу. Катька робко шагает другим краем.

— Чего в узелке-то? — лукаво спрашивает у нее Илья.

Катька смотрит на него исподлобья.

— Сахар из лавки.

— Вот что. По лавам через реку ходить не боишься?

— Нет.

Катька все смотрит недоверчиво. Это начинает раздражать Илью. Сдерживаясь, он тиконько говорит:

— Дядюшка-то Аверьян к Настасье заходит?

Катька, не ответив, прижимает узелок к груди и бежит от него, сверкая голыми пятками.

— Держи-и, держи! — пробует пошутить Илья, но, чувствуя, что это не вышло, плюет и грязно ругается.

В тот же день Илья спешно уходит на Нименьгский завод. Утром возвращается веселый.

Аверьян издали слышит его голос на деревне и хочет незаметно проскочить в свой проулок.

— Постой! — кричит Илья и подходит к нему.

Стоят у канавы. По дороге ветер перекатывает березовые листья. Они постукивают черенками о сапоги Ильи.

— Идем на выручку одинокровных братьев! — говорит Илья.

— Да, да, — оживляется Аверьян. — Читал вчера, как население встречает Красную Армию, обнимают наших ребят.

Несколько минут беседуют о победах Красной Армии. Потом начинают говорить о работе, и Аверьян сразу чувствует, что у Ильи есть что-то против него новое. Он сразу обрывает разговор.

Заметив его испуг, Илья говорит:

— Что же ты, елки-зеленые! Думаешь, все, как у тетки, прощать будут! А заявление в партию подавал, о чем думал?

— Я никакой вины не чувствую!

Илья поднимает палец:

— Это вы нам подождите!..

И делает строгое лицо:

— Перед таким шагом надо было все сугубо продумать! Надо каждое слово взвешивать! Ну, вот что получается, мы тебя исключим, будешь запачкан. Стоило начинать дело! Чудак!

И, осмотрев Аверьяна открыто насмешливо, Илья уходит.

Потерялась в лесу молодая кобыла Воронуха. На Сосновской дороге видели ее следы, и рядом следы медведя. Правда, след Воронухи был старый, омытый дождями, медведь же только прошел.

Собрались искать лошадь. Шли многие: подростки, пожилые.

Илья вышел на деревню хмурый, жаловался: ломает, должно быть, сменится погода. Если к вечеру будет легче — пойдет на Пиль:

му (там он рубил для своей коровы хлев) и попутно осмотрит все дороги, сыри. Только на Пильме Воронухи нет: все бы за лето на-ткнулся на нее или услышал.

Направились в Дедово. Солнце еще не вставало. Пожни притихли в мягком свете. Плотный туман лежал у самой земли. В лощинах он был так густ, что мальчишки прятались в нем друг от друга. Когда взошло солнце, туман быстро побежал по земле, разбивался о кусты и исчезал. Кусты сразу почернели, засияли, Мальчишки отряхивали их.

Вскоре стало совсем ясно. Над самым лесом закурлыкали журавли. Большие, неуклюжие, с длинными вытянутыми ногами, солидно, неспеша взмахивали крыльями.

— Стадятся! — сказал Иван Кобытов.

Аверьян прислушивался к спокойному курлыканью журавлей, осматривал небо и думал: «За сколько же дней Илья узнает погоду?»

Зашли в лес, стали расставлять цепь. Аверьян молчал и все думал о нем. Потом шел по лесу, перекликался с соседями и опять думал об Илье.

Под вечер сошлись на гари у Сосновца. Сдержанно разговаривали: всем было жаль Воронуху. Аверьян изредка вставлял замечания. Потом сказал:

— Не застряла ли Воронуха на Пильме, в Авдюшкином болоте? Илья там наверно не был.

— Может быть, — поддержал его Иван Кобытов. — Не мешает заглянуть и туда.

Все согласились.

Последние годы на глухую реку Пильму как-

то не принято было ходить. Коней в лесу не пасли, ягоды и грибы были всюду близ станочных дорог.

Пошли на Пильму. Держались старой просеки, а больше наугад.

В сырых и грязях останавливались: следов Воронухи нигде не было видно.

Кромкой берега Пильмы была пробита тропа. Шла она прямо, уверенно к еловой гряде — Акимову бугру, срезала изгибы реки, просекала заросли.

С бугра доносилось гудение дерева под топором. Изредка топор звенел, отскакивая: видно, дерево было крепкое, сухое.

Аверьян с Иваном Корытовым первые подошли к вырубке и остановились. Весь Акимов бугор был повален. Возвышался лишь голый холм, и на склоне его стоял белоснежный еловый сруб. Толстые — одно к одному — бревна тщательно выстроганы скоблем, глубокий прочный паз, накрывая дерево, сливался с ним — не просунешь иглы. Зауголки были опилены, острые края бревен срезаны. Все белело, светилось, только косяки были розовые — из сосны. Вокруг сруба густо лежали свежие щепки, серебристые стружки, опилки. От всего этого на холме было светло. Подошли ближе. Щепки захрустели под ногами. Все стали щупать сруб, постукивали по гулкому дереву и улыбались.

Аверьян поднял щепку и разломил ее в руках.

Трудно найти что-нибудь более приятное, чем запах свежей ели в стене.

Сосна пахнет густо, сыто, до легкого головокружения. Волокно ее отлетает под топором

шероховатыми ломтями. Вырубленная в сосне «коровка» похожа на розовую чашу, которую хочется вынуть из дерева и нести на солнце. У ели нет того богатства красок. Аромат ели тоньше, нежнее, иногда он чуть уловим. Особенно хороша ель к середине ствола, источающей свет и тепло солнечных десятилетий.

У всех блестели глаза. В каждом проснулся северный плотник.

— Вот ужо, ребята, — проговорил Иван Коротов, — зимой навозим лесу и поработаем, на большом-то дворе. Будет где развернуться!

Человек десять вошли в сруб. В углу его стояла большая, только что законченная колода для воды. Она гудела: стоило сказать погромче, задеть за порог каблуком.

Ходили в срубе, прикидывали на глазок длину, ширину его и переглядывались. В хлеве свободно могли стоять две коровы и с десятков овец.

По одну сторону сруба, в штабеле, лежали тесанные потолочины. Заготовлены они были, видимо, еще с весны — облились серой и пожелтели.

Все обратили внимание на то, что в стене сруба не было ни одной вершины. Но и на вырубке ничего не валялось. Все старательно прибрано, расчищено, сожжено. Мелкие сучки там и тут сложены в аккуратные кучки. В одном месте вырубки на гари виднелась жнитвина: Илья сеял ячмень. В другом — зеленели еще листья репы.

Осматривали вырубку, сруб, в стороне — вóрот, обтертый веревками, шалаш, рядом с ним костер и мрачнели.

Трудно было поверить, что все это сделано одним человеком. Всем становилось ясно, что, пока были светлые ночи, Илья не смыкал глаз — работал в лесу. Вот почему он плохо метал стоги, иногда дремал на ходу. Он просто был не в силах делать лучше.

— Вот отчего его ломает, — с хитрой усмешкой проговорил Иван Кобытов.

Все зашумели.

Илья вышел из леса (видимо, переживал, пока все уйдут, и не выдержал). Он был хмур, гладил поясницу.

— Только до вас пришел, — громко сказал он. — Тоже пробежал дорогами. Кобылы тут нигде нет. Да ведь я сказывал!

Заметив, что многие косятся на его «хлевец», быстро повернулся к нему и пояснил:

— Лесок попал хороший. Дай, думаю, срублю побольше. И люди спасибо скажут. Вон у вдовы Устиньи некуда корову загнать, пускай на здоровье гонит.

— Что ж ты ее ни разу не позвал в лес? — спросил Иван Кобытов. — Хоть сучья таскала бы — и то ладно!

— Ну, что с нее взять!..

Иван Кобытов шагнул к костру прикурить и стал рассматривать закрытый у пенька ветками черный котел. От котла чуть заметно поднимался пар. Иван кивнул на этот котел.

— У Ильи все по-особому: только пришел, а тут за него кто-то уж пообедал...

Все мрачно молчали.

Илья сделал вид, что не расслышал, разговаривал с подростками.

Аверьян чувствовал на себе его взгляды.

Илья, должно быть, заметил, что первым к вырубке подошли они с Иваном Кобытовым. Обязательно заподозрит теперь: нарочно привел сюда! Этого Илья не забудет...

Илья прошел вместе со всеми к Авдюшкину болоту. Вышагивал впереди, изредка покрикивал на подростков или просил то одного, то другого: «Опустишь-ка вон в ту сырцу!»; «Осмотрика-ка, парень, около того выворотня, что-то сильно умято!»

Воронуху не нашли.

Илья спешил из леса. К вечеру ждал из города дочь. Но она приехала поздно. Илья сидел за чаем у открытого окна и прислушивался. Когда ему сказали, что Матреша стоит с вещами на деревне, Илья выбежал из-за стола во тьму ночи босиком, в расстегнутой рубахе.

На дороге, около середины деревни раскачивался фонарь, слышались веселые молодые голоса. Илья подбежал к машине. На краю канавы стояла Матреша с двумя чемоданами и разговаривала с подругой. Шофер с помощником наливали в радиатор воду. Около них носился Васька Хромой, возбужденный, в одних портках (шоферы черпали из его колодца воду керосинным ведром). Илья покосился на Ваську и плюнул:

— Как тебе не стыдно, при девушке в одних портках и ругаешься! Свинья!

— Да ведь эти девушки слышали! — просто ответил Васька.

Илья сунулся к дочери, похлопал ее по плечу и взял оба чемодана. Дочь упрашивала оставить ей один, он ничего не ответил.

Аверьян смотрел, как сзади шла, размахивая

руками, здоровенная девчина, а отец кряхтел под тяжестью чемоданов.

В нем все было не такое, как у других. Даже в его любви к детям!

Аверьян понял, что злоба Ильи к нему безмерна. Из-за него приходилось Илье подтягиваться на работе, из-за него потерял Илья авторитет. Теперь, пока еще не совсем перестали с ним считаться, Илья решил предупредить Аверьяна, обезвредить его для себя. Его теперь не остановишь никакими силами. Теперь он будет биться до изнеможения, будет бегать, ездить, говорить.

Надо как-то этому помешать. Но как? Аверьян не находил ничего такого, что не показалось бы склочным, потому что Илья начал против него дело.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава семнадцатая

Илья приносит из клетки шомпольное ружье, которого не брал в руки уже лет двадцать, чистит его и идет в лес.

Дороги заросли. На тропах — трава и кусты осины. Местами поперек пути лежат подгнившие елки. Обходя их, Илья ворчит, сердито разбирает сучья. Тяжелое ружье то и дело сползает у него с плеча.

Через речку Хоревку обвалился мостик. Илья перебирается по скользкой балке и падает в воду. Правда, тут только до колена, но все равно начерпал в сапоги. Он переобувается и посматривает на солнце. Время к вечеру. На берегу, в осиновой роще чувствуется прохлада, запахи влажной земли и валежин. Все это напоминает Илье годы охоты на птицу, ночевки в лесу. Но он не был хорошим охотником, скорее, все это раздражает его. Он мельком осматривает лиловые вершины и в одной видит черный ком. Сразу вспотев, он делает ружье на-изготовку и крадется за деревьями. Глухарь громаден, в нем не менее шестнадцати фунтов мяса. Это так волнует Илью, что он за

бывается, бежит от дерева к дереву, наступает на сучья. Слышится оглушительное хлопанье. Илье кажется, что он ощущает на своем лице ветер, поднятый крыльями черной птицы. Илья стреляет в лет, почти не целясь, его сильно толкает. Струей огня обрывает несколько листьев. Потом все стихает. В одном месте слегка покачиваются сучья. Плюнув и громко выругавшись, Илья уходит. Потеряно много времени. Начинает смеркаться. Он сворачивает на старую просеку, то и дело останавливается и слушает. Где-то далеко ударили обухом в сухое дерево. Над вершинами сказался ворон: возвращается на ночевку. Илья теряет просеку, попадает в лощину. Высокая трава, кочки. Он узнает Согру близ озера Данислова, вскоре выходит на берег и видит на елке охотничий знак старика Лавера. Вот и тропа. Слышен запах дыма. Он подходит к избушке. Лавер стоит у двери. На самом берегу Укмы костер. Навешен большой чайник. Перед избушкой, на широком темном пне сумка Лавера с убитой птицей.

— Здравствуй, дед!—с некоторой робостью произносит Илья. (Он не любит и побаивается этого старика.)

Лавер молча кивает и смотрит на него как на пустое место. Потом уходит зачем-то в избушку. Илья стоит, ждет. Наконец, заглядывает в темную дверь. Лавер сидит на нарах. Потрескивает каменка. В избе страшная жара.

Илья скидывает ружье, сумку и подкладывает в костер дров. Закипает чайник. Лавер уносит его, потом достает с потолка избушки веник и плотно закрывает за собою дверь.

Становится совсем темно. Илья сидит на земле у костра, ждет, когда старик кончит париться, и злится. Проходит с полчаса, Лавер открывает дверь и в одном белье садится на пороге избы. Сзади него виднеется пламя каменки.

Удивительное дело! Илья не знает, как начать разговор. Старик смотрит попрежнему, как бы не видя его. Разговаривает с собакой. Наконец, весь белый, босиком идет за водою на Укму и принимается готовить ужин.

— Дед, — начинает Илья, — прошлый год в первый день пожара сюда приходил Аверьян? Не помнишь, с кем он был?

Старик не отвечает.

Собака лежит у его ног и стучит хвостом: оба заняты.

— Не скажешь? — неуверенно уже спрашивает Илья.

Старик молчит.

Илья думает о том, как будет ночевать в избешке вдвоем с этим человеком, и ему становится страшно. Он исподлобья посматривает на Лавера, озирается по сторонам. У стены избежки он видит большой ворох берестяных обчинок, наматывает их на палку, зажигает в костре и торопливо, без оглядки, идет через лощину. Измученный, вымокший в траве до пояса, он приходит к Онисиму.

Найда бросается на него с лаем.

— Что! — кричит Онисим.

Собака покорно возвращается к порогу.

Узнав Илью, Онисим рассматривает его с любопытством.

— Славно, — говорит он. — Новый охотник.

— Насилу дотащился, — жалуется Илья. — Давай, думаю, лучше ночую у Онисима.

Онисим не отвечает. У него поспел ужин. Он стелет у костра на траве скатерть и наливает в деревянное корытце свежих щей. Илья садится поодаль, искоса поглядывает на его приготовления. Нигде похлебка не пахнет так вкусно, как в лесу.

Онисим отдает собаке кости, бросает кусок хлеба. Найда, счастливая, устраивается под кустиком. Илью раздражают фиолетовые огоньки ее глаз, он отвертывается и развязывает сумку. Онисим садится к столу и молча протягивает Илье ложку. Едят, обжигаются.

На полянке колеблются две огромные тени.

Трещит в костре. Оба посматривают на него. Это как бы сглаживает неловкость молчания.

— Гагары сталятся, — говорит Илья. (На озере слышны их крики.)

— Тронулось много птицы... Вон позавчера лебеди опускались.

— Вот бы подстрелить.

Онисим не отвечает, он смотрит на Илью испытующе. На самом деле решил лесовать или что другое?

— Пожар-то помнишь? — осторожно спрашивает Илья.

— Ну?

— В первый день на пожар Аверьян приходил. С каким он был человеком?

Онисим задерживает ложку в руке.

— А тебе что?

— Как же, надо узнать.

Онисим слышал, что у Аверьяна какая-то неприятность. Он не знает — что; раз решили

разбирать, значит что-то есть, но когда о нем что-то хочет узнать Илья, старик настораживается. Это поднимает Аверьяна в глазах старика, и он начинает подумывать о том, уж не напрасно ли возводят на Аверьяна какое-то дело?

— Ну, как, дед, скажешь?

— Все забыл. Стала память старая,—со смехом в глазах говорит Онисим.

Молча заканчивают ужин. Старик идет в избушку. Собака ложится у порога.

Илья тоже лезет в избушку, опускается на пол к стене и вытягивает ноги. Онисим лежит на нарах, спиной к гостю.

За дверью свежо и сыро. Угасает костер.

— Как бы тебе, старик, самому отвечать не пришлось,—начинает Илья. — Ты знаешь, что бывает за укрытие?

Онисим быстро поворачивается к Илье.

— Это что, страшать?

Илья молчит.

— Ну-ка,—говорит Онисим,—иди с богом, откуда пришел. Иди! Иди!

— Ты что, ошалел?

— Иди!—уже кричит Онисим и встает.— Иди и жалуйся на меня, куда знаешь!

Илья выходит на улицу, смотрит на холодное, чистое небо, на озеро, застывшее в лунном свете, и ежится.

Онисим захлопывает дверь.

Илья вздрагивает и бежит к угасающему пламени. Он оживляет костер, ложится к огню спиной и всю ночь вертится от холода. Едва начинает брезжить, он вскакивает и уходит домой.

Он никому ничего не говорит о своей охоте. Для виду убивает на опушке сойку и крылышки ее прибивает на стену в горнице над своим большим портретом.

Неудачи не смущают Илью. После каждой неудачи он становится только злее, решительнее и держит себя со всеми как строгий судья.

— Эй ты, председатель, — обращается он к Маносу, — что у тебя на Филатовом овине — лен сушат или тараканов морозят? Теплина пуста, никого нет.

Илья снисходительно улыбается.

— Должно быть, и сушит такой субчик, как ты! — сдержанно, с достоинством отвечает Манос.

Илья сразу свирепеет, начинает кричать.

Манос радостно раскрывает глаза. Прошлый раз, сцепившись с Ильей, он не заметил, как Илья держал выхваченные в злобе очки. Сейчас Илья сразу достает очки и долго поправляет их на носу большим и указательным пальцем. Манос, забывшись, приближается к Илье и следит за ним с любопытством.

— Тебе чего? — несколько растерявшись, спрашивает Илья.

Манос отступает на шаг и говорит начальнически:

— Ты мне дай отчет: где эти дни шатался? У меня людей нехватает, люди на вес золота. Спрашивался у бригадира?

Илья отвечает важно:

— У меня партийные дела!

— Ты меня в панику не бери! Штрафую за прогул! Что ты, гнида, бродишь, собираешь

сплетни на хороших людей! Прямо какой-то Потап на балу!

Илья грозит пальцем:

— Защищать? Захотел на казенные хлеба? Я тебе как-то намекал о Шмотякове. Свяжут!

Манос настолько оскорблен, что не знает, с чего начать речь. В память приходят отрывки самых решительных выступлений Азыкина, слова Ильи. Ко всему этому примешивается страх снова ошибиться. Манос ничего не может слепить из всех этих обрывков и, махнув на все рукой, уходит от Ильи в смятении.

День ото дня Илья становится бодрее. Его можно видеть всюду. На гумне, на стлище, в сельсовете. Всюду слышен его трескучий голос. Но авторитет Ильи подорван невозвратно. Его или не слушают, или поддакивают для виду. Илья догадывается, что его разговор с Устиньей известен всем. Она, видимо, разболтала, да еще прибавила от себя...

Так и есть. Его вызывает к себе Макар Иванович.

— Что же ты, милый, занимаешься болтовней? — просто спрашивает он.

«Теперь уж все равно», — думает Илья, неторопливо усаживается на диване и ясно смотрит на секретаря. Губы его шевелит улыбка.

— С каких это пор ты считаешь политическую работу болтовней? — спрашивает он.

«Как он смотрит!» — думает Макар Иванович и начинает наблюдать за Ильей, как бы впервые его видя.

Молчание Макара Ивановича раздражает Илью. Он говорит уже резче:

— Мне кажется, ты, товарищ секретарь, собираешь о членах партии сплетни.

Макар Иванович продолжает рассматривать его. Это спокойствие секретаря озлобляет Илью окончательно. У него начинают дрожать губы.

— Ты хочешь отстоять своего счетовода. Боишься за своего рекомендуемого.

— Перестань, — не повышая голоса, говорит Макар Иванович. — Запомни: болтать не надо.

Макар Иванович собирает на столе бумаги. Илья видит, что этот разговор стоил секретарю большого напряжения: лицо у него неподвижное, губы плотно сжаты. Илья уверен, что Макар Иванович уносит в себе обиду и, конечно, при удобном случае, кое-где напомнит об этом. Он наливался бешенством и кричит:

— Ты хочешь меня топить!

Макар Иванович удивленно поднимает голову:

— Не дури.

— Позволь напомнить, — продолжает кричать Илья, — кто в тридцать седьмом году распахал Агафоновы лужки?

Держась за портфель, Макар Иванович снова неузнавающим взглядом осматривает Илью. Илье кажется, что точно так смотрит на него последнее время Манос. У него мелькает догадка: не обсуждает ли секретарь его поведение с этим беспартийным?

— Председателем был ты! — кричит он. — Счетоводом — Аверьян. При вас в Малом поле навывпахивали глины!

Макар Иванович выпускает портфель. Все это действительно было. Лужки погублены, на

полосах после той весны выросла одна метлика...

— А ты не помнишь, как у полосы стоял прокурор Теркин? Уполномоченный рика? — спрашивает Макар Иванович. — Ведь он заставил пахать глубже, приводил насчет глины какую-то теорию! Агафоновы лужки тоже перепаханы под нажимом уполномоченного Крысина!

Илья усмехается.

— А если бы они заставили о стенку головой стукаться, ты бы послушал?

Макар Иванович начинает горячиться. Илью радует это.

— Вреда колхозу вы тогда принесли много, — говорит он. — Жаль, меня не было дома. Я бы не допустил до этого. Не знаю, как это все гладко сошло вам с рук!

Илья делает паузу и добавляет:

— А может быть, и не сошло.

Макар Иванович вдруг перестает спорить, спокойно берет портфель и спешит к выходу. Илья остается с раскинутыми руками.

— Чего встал пугалом? — ворчит на него сторожика. — Сейчас дверь закрою.

Илья покорно идет к двери.

Глава восемнадцатая

Марина замечает, как Аверьян в последние дни задумывается, хуеет. Она приходит в сельсовет и каждый раз заглядывает к нему. Сидит со сторожихой Устиньей, смотрит, как он работает, как говорит по телефону.

— Да, товарищ Ребринский, это я, Чуприков. Ничего. (Он мрачнеет.) Тут разбирали мое дело.

Посидев с полчаса, она уходит: нет времени.

Вечером в день разбора дела он сидит у окна в потемках. Больше никого в избе нет. Возвратившись с работы, Марина зажигает лампу и ставит ее на стол. Он неподвижен, ничего не замечает. Марина осторожно касается рукой его волос. Он удивленно поднимает голову. Марина стоит спокойная, внимательная и строго смотрит на него.

— Хотя я давно тебе чужая, — говорит она, — а так нельзя. Не рвись! Тоской делу не поможешь. Я не знаю, что у тебя. Думаю, что ничего худого не сделал...

Он, размягший, прислоняется к стене и сидит, не спуская с нее взгляда. Потом отвертывается и говорит:

— Если я тебе чужой, так в чем дело! Поступай как знаешь. Жалости ко мне у тебя теперь все равно нет.

Она долго молчит. Потом совсем тихо произносит:

— Если бы не было жалости, я бы не плакала.

— Разве ты плачешь?

Марина не отвечает.

Ему вспоминаются слова матери:

«Те слезы, сынок, тяжелее, которые в тайности...»

Он смотрит на Марину и не знает, что ответить.

— Иди! — говорит Марина. — Тебе время.

И он уходит.

Илья сидит у самого стола. На нем новая коричневая рубашка, он только что из бани. В руках у него свежая газета.

Все молчат, переглядываются.

Макар Иванович объявляет о том, что дело Чуприкова доследовано.

Аверьян мучительно старается вспомнить что-нибудь, но попрежнему никакой вины за собой не чувствует. Он смотрит на широкое, с застывшей улыбкой, лицо Ильи, на его широкий жабий рот, в его желтые, влажно поблескивающие глаза.

Да, он никакой вины за собой не чувствует, но все-таки ему страшно, потому что тут находится этот человек.

Макар Иванович перелистывает папку. Все замечают, что он взволнован, поэтому всем становится ясно, что дело важное, не шуточное.

— Мы, товарищи, постарались выяснить все. Навели все справки.

Макар Иванович умолкает и принимается что-то разыскивать в папке.

Илья упирается ладонями в колени и чуть склоняется к столу. Становится видна у него в кармане тетрадь.

— Многое из того, что говорил прошлый раз Илья Евшин, подтвердилось, — продолжает Макар Иванович.

Слышатся вздохи, скрипение стульев.

Неподвижным остается один Азыкин. Он знает все заранее. Он сидит в уголке дивана, полуприкрыв глаза, и как бы дремлет.

Макар Иванович неторопясь докладывает о пьянстве Аверьяна с Игнашенком, о том, что многие видели, как Игнашенок давал ему день-

ги. Аверьян кутил с Игнашенком три дня без перерыва. Неизвестным осталось, где был Аверьян 26 и 27 июля перед самым пожаром и в день пожара. Игнашенок в это время тоже пропал с завода...

Наступает тишина. Все смотрят на Аверьяна. Лица суровы, неподвижны.

Аверьян молчит. Все это правда. В 1938 году он пил с Игнашенком. И, может быть, брал на водку деньги, он не помнит этого. Вообще все это время, как он шатался, зачастую ему было все равно, где ночевать, с кем выпить. Он жил страшно. Иногда его пьяного видели валяющимися в канавах...

— Это было, — говорит Аверьян, ни на кого не глядя. — Но я ни в чем невиновен. Теперь видите — я не лью.

Высказываются робко, неопределенно.

Посмелее выступает Вавила. Он не видит причины для исключения Аверьяна, как это предлагают некоторые.

Илья просит слово в порядке ведения собрания. Могут ли голосовать члены других партийных организаций, кроме того такие, о которых не сегодня — завтра разбирается вопрос как о хулиганах?

— Так ты что же — предлагаешь ему удалиться? — с неудовольствием замечает Макар Иванович.

— Нет. Я только прошу учесть, — говорит Илья.

Неожиданно вскакивает Азыкин.

— Евшин совсем не умеет вести себя на собрании! Надоело на него смотреть.

— Председатель, позвольте слово! — спокой-

мо говорит Илья. — Я не знаю, товарищи, кому и на кого надоело смотреть. Кто кому мозолит глаза?

Илья раскрывает тетрадь, немного придвигает к себе лампу и начинает неторопясь читать о том, как в начале весны группа двурушников: Возвышаев, Пенкин, Азыкин пытались сорвать ход мобилизации средств в Нижних Слободах.

Все открывают рты. Сам Азыкин вынимает изо рта папироску. Никто не смотрит ему в глаза.

— Позвольте! — вдруг кричит Азыкин. — Да ведь это все та клеветническая заметка. Какая наглость!

Все недружелюбно повертываются к Илье.

— Ты все время нарушаешь порядок ведения собрания, — говорит Макар Иванович. — Прекрати эти безобразия. К чему опять эта заметка? Ложь! И не о нем сейчас речь. Лишаю слова!

Илья снимает очки и продолжает листать тетрадку. Все ждут.

— Что это клевета — у меня на этот счет особое мнение.

Он делает паузу.

— Да только ли у меня!

— Врешь, жабья морда! — во весь голос кричит Азыкин.

Все смотрят на него. Он стоит со стиснутыми кулаками, тяжело дышит.

Илья бросает на него быстрый взгляд и улыбается.

— Каких еще вам надо доказательств. Виноватый всегда скажется.

— Садись! — приказывает Макар Иванович.

Несколько овладев собой, Азыкин просит слово и принимается объяснять. Эта клеветническая заметка была причиной того, что его в Нижних Слободах исключили из партии, сняли с работы и перестали отпускать в кооперативе продукты. Потом, конечно, все было выправлено, но ему до сих пор больно вспоминать об этом. Он просит извинить его за то, что погорячился. По делу Аверьяна он считает, что Аверьяна не должны исключать. Аверьян уже не тот!

Ни один из выступающих не упоминает больше об этой заметке. Начинают горячо говорить о поступках Аверьяна. Кто может поручиться за пьяницу? Было время, собирал рюмочки, не брезгал ничем. Правда, все это прошло, и вот видные коммунисты, вроде Макара Ивановича, даже нашли нужным рекомендовать его в кандидаты партии. Но выходит, что он не совсем открыто пришел в партию, что-то оставил про себя...

Аверьян смутно слышит все это. Он еще не представляет, что с ним будет, если исключат, что будет потом. Самое страшное в том, что могут не поверить в его искренность!

Поднимается Макар Иванович. Все смотрят на него.

— Что же, товарищи,—говорит секретарь.— Вы правы, как можно поручиться за человека, который ради рюмочки вязался со всяким негодяем? Может быть, весной мы, действительно, совершили ошибку.

Илья одобрительно кивает головой.

— Есть ошибки, которые исправимы.

Макар Иванович не отвечает.

— Но все-таки я против исключения Аверьяна. Он вполне исправим.

— А нам известно, что было у него с Игнашенком, со Шмотяковым? — спрашивает Илья.

Молчание.

Макар Иванович ставит на голосование предложение Ильи: исключить.

Аверьян закрывает глаза.

Тихо. Слышится шелест поднимаемых рук.

Когда Аверьян открывает глаза, все руки уже опущены.

— Значит против только один я, — говорит Макар Иванович и поворачивается к Филемаслоделу: — Запиши: «Исключить при одном голосе против».

— Неправильно! — кричит Азыкин. — Я буду говорить об этом в райкоме.

Все молчат.

Илья поправляет на носу очки. Потом неторопясь достает очешник, с легким шелканием открывает его и быстро снимает очки.

— Так что ты советуешь? — говорит он Азыкину. — Переголосовать? Мне кажется, собрание, кроме секретаря, единодушно.

Азыкин не отвечает.

Расходятся. Аверьян сидит у окна. Потом встает и, опустив голову, выходит.

Макар Иванович и Азыкин тоже идут на улицу и стоят у ворот. На деревне шумно: возвращаются с кинокартины. Мелькают огоньки цыгарок.

— Райком отменит, — решительно произносит Азыкин.

— Не знаю...

Макар Иванович прощается и торопливо идет под гору, к реке. Он догоняет Аверьяна, но не выравнивается с ним, осторожно следует сзади.

Под ногами поскрипывает песок. Вот над рекой черная полоса лавинок. Лавинки стучат, прогибаясь под ногами. Лицом и руками Макар Иванович ощущает туман, теплый, влажный, с запахами земли: говорят, последним ливнем в верхах сорвало плотину.

Аверьян ни разу не обертывается. Они выходят на берег. В крайнем гумне свет фонарей: бабы треплют лен. Согнувшись, оба быстро проходят мимо и снова скрываются во тьме. Так следует Макар Иванович за Аверьяном до самой его избы. Здесь он ждет, когда хлопнет дверь, и подходит к окошку. Марина сидит за прялкой. У стола ребята с книгами, с тетрадями. Аверьян раздевается в углу и сразу валится на лежанку.

— Чаю или есть хочешь? — спрашивает Марина.

— Как вы — мне все равно.

Марина начинает собирать ужин.

«Ничего», — думает Макар Иванович и уходит.

Утром Илья идет на ток. Сумерки. В кустах, за канавой, просыпаются сороки. Итти далеко, до самого Лебежского хутора. Илья торопится, оглядывается назад: никого не видно, он первый.

Тракторист устанавливает привод. Илья кивает ему, по-хозяйски обходит вокруг ометов, щупает солому. Потом встает на свое место к барабану и старательно обметает вокруг себя веничком.

Женщин Илья встречает улыбками. Пробует шутить, но на его шутки не отвечают: одни сразу берутся за грабли, другие лезут на скирду подавать снопы. Илья остается один. Он думает о том, что в этом виноват Аверьян: бабы сочувствуют ему.

Илья снова пытается заговорить с женщинами:

— Вот, бабы, какие дела-то!

Опять никто не отвечает.

Включен мотор. Начинает работать привод. Ровно вертится барабан. Илья ровным слоем направляет снопы в барабанную пасть. Он как будто не спешит: успеваешь замечать все кругом, покрикивает на девчат: «Не рвись!», «Что рот открыла, отгребай!».

Все стараются до поту. Подростки носятся с граблями бегом. Один Илья ровню, уверенно направляет снопы. Зерно летит бесчисленными брызгами.

— Ты, заозерка, что скажешь? — кричит Илья сквозь грохот машины.

— Что спросишь? — не глядя на него, отвечает Настасья.

Он посматривает на нее исподлобья.

— Обиделась?

— А что на тебя обижаться! Тебе только в глаза наплевать. Ты бы жил один на всем белом свете.

Все повертываются к Настасье.

Павла опускает грабли.

— Отступи от нее, отец, — советует она Илье. — Видишь — дружка задела, так сердцето у нее рвет.

Илья и сам не рад, что так получилось. Он

кричит на жену и вырывает сноп из рук Устиньи.

Павла, склоняясь то к одной, то к другой, начинает что-то нащоптывать женщинам. Женщины переглядываются, удивленно качают головами.

Аверьян просыпается и видит на полу, на стене, по лавкам яркий солнечный свет.

В избе пусто. Пахнет горячим хлебом.

Аверьян умывается, выходит в сарай и выглядывает из ворот. Наступает новый день, день отлета птиц, строгий, немного печальный и величественный. Еще не весь осыпался лист, кусты за полем похожи на громадные костры. Облетела только рябина.

Павла Евшина смотрит из окна. Круглое лицо ее оживлено любопытством.

Аверьян уходит в сарай, начинает переключать сено, передвигает старые сани. Снова идет к воротам. Павла все еще смотрит. Тогда он решительно шагает по въезду. Павла прячется. Он идет задворками в другой конец деревни. Здесь садится на камень к чьей-то бане и начинает соображать, куда сейчас идти, что делать? Потом он догадывается, что могут увидеть, как он сидит тут, и, сам не зная зачем, встает и идет по полю.

У гумна Манос с двумя помощниками исправляют привод льномялки. Рядом стоят выпряженные кони. В воротах любопытные лица баб. Сзади них слышится голос Павлы (она уже здесь!):

— Ой, матушки, таких ли вышибают.

Ему кажется, что Павла говорит только для него. Никто ей не отвечает.

— Будет вам трещать, сороки! — кричит Манос.

Потом кивает подростку на коней: «Крути!» — и подходит к Аверьяну. Стоят, закуривают. Манос бледен. Ноздри у него взволнованно раздуваются.

— Всю ночь не спал. В голову мысли лезли, — начинает он. — Мне не утерпеть, чтобы не думать. У меня Авдотья, как легла, так и храпит. Иногда разбудишь: «Ты все спишь! Об чем-нибудь подумай!..» — только ругается...

Аверьян чувствует, что говорит Манос совсем не то, о чем думает.

Стоят молча. Манос смотрит в сторону. В глазах у него тоска.

— Племянник Михайла женился, — снова начинает Манос. — Женился и влип: свиристелка.

Аверьян не отвечает. Тогда Манос начинает осматриваться по сторонам. Выпрямляется, делает строгое лицо и тихонько говорит:

— Понимаешь, я не могу говорить на тему политического характера. Наши с тобой взаимоотношения теряются.

Он достает очки, хочет их приладить на нос, потом как попало сует в карман и отходит за угол овина. Аверьян, уходя, заглядывает за угол и видит, что Манос плачет.

Глава девятнадцатая

Макар Иванович пришел в сельсовет и увидел Аверьяна, как всегда, на месте. Он считал, писал, разговаривал с посетителями, с иными даже пробовал шутить.

— Написать тебе, Аксинья, что ли? В Октябрьскую позовешь пиво пить...

— Да уж только бы дожить, а чем угостить — найдем...

Макар Иванович то и дело выходил в общую комнату и приглядывался к нему. Аверьян такой же, как всегда! Макар Иванович подошел к самому его столу и попросил написать отношение члену сельсовета Старого села. В отношении надо было сказать о старике Ермоше, проживающем на месте хутора в трех километрах от деревни, об оказании помощи больному старику.

Аверьян начал писать, и Макар Иванович увидел, что пишет он совсем не то, весть о старом Ермоше не тронула его. В глазах Аверьяна безразличие. Они остаются такими и в то время, когда Аверьян улыбается. Сейчас с ним можно говорить о чем угодно, он будет отвечать, улыбаться, не думая о сказанном. Он не будет вздыхать, сидеть, опустив голову, но может остановиться где-нибудь на пути и простоять несколько часов, пока его не сдвинут.

В сельсовете полно людей. В углу Аверьян видит лицо Настасьи. Пришла по делу к Макару Ивановичу, садится на лавку и ждет. Шум, толкотня, кто-то просит справку. Да, это единоличник Иван Костин...

Когда Макар Иванович понял, что происходит с Аверьяном, он испугался, послал мальчишку с запиской к себе домой. Мальчишка принес что-то завернутое в бумагу. Макар Иванович, улыбаясь, как и Аверьян, одними губами, подошел к нему и подал этот сверток.

— Помнишь, обещал тебе нулевой дробью. На, возьми. Все равно мне ходить некогда.

Аверьян молчал. Потом Макар Иванович заметил, как глаза его потеплели, движения потеряли четкость, быстроту. Он оглянулся, как будто сейчас поняв, где он и что с ним, и сказал:

— Спасибо.

С этой минуты он уже не работал, как раньше, он стал тих, неуверен, перестал шутить, улыбаться, на лице у него появилась растерянность.

Макар Иванович ушел, оставив его в сельсовете. Устинья то и дело выглядывала из своей каморки, следила за ним и снова скрывалась.

Под вечер в сельсовет пришел Илья. Он хлопнул дверью и смело двинулся в передний угол. Не сгибая головы, весь вдруг повернулся на месте, приставил к столу стул и прочно сел на него.

Аверьян продолжал работать.

— Что, разве я не прав? — тихо начал Илья. — Должен был слушать. Ведь говорил тебе не кто-нибудь. Понятно, тебя винить не станут: большевиком может быть не всякий.

Илья достал очки и потянулся к газете. Аверьян искоса посмотрел на его короткую, пухлую руку. Устинья вышла в общую и стала подметать пол.

Илья продолжал совсем тихо:

— Только канители наделал организации. Ну вот, чего дождался? Вчера тебя исключили, а завтра, может быть, пойдешь на казенные хлеба, за своими друзьями.

Аверьян перестал считать, прикрыл пальцем цифру и так застыл.

— А тужить-то чего! — успокаивающе продолжал Илья. — Нужно было слушать раньше. А сейчас что же ты, после-то дела! Вот ты даже тут не можешь держаться, как человек...

Аверьян поднялся, шагнул к Илье и схватил его за горло. Со стола полетели счеты, загремел, опрокинувшись, стул.

Устинья засуетилась в углу: то ли бежать за народом, то ли броситься на выручку Ильи.

Аверьян выпустил Илью, отряхнул руки, плюнул и упал на стул.

Илья тупо осмотрел избу, Устинью и, указывая на нее пальцем, сказал:

— Ставлю в свидетели!

— Я ничего не слыхала, не видала! — крикнула Устинья и зажала уши.

Илья, шатаясь, поднялся и, держась за стенку, вышел из сельсовета.

Аверьян тоже вскоре вышел. Устинья смотрела в окно. Он перешел реку по лавам, поднялся в гору, к своей деревне.

Устинья повздыхала и отошла от окна.

У самой деревни, на конце полосы, Аверьян снова увидел Настасью. Мелькнуло ее лицо, белый платок. Он быстро прошел за крайний амбар.

Дома никого не было. Ворота приперты коромыслом. Аверьян выхватил коромысло, зашел в сарай и запер ворота изнутри. К нему подбежала собака. Он оттолкнул ее, взял представленное в углу ружье, пришел в избу и сел в простенок на лавку.

Собака царапалась за дверью.

Он осмотрел темные стены избы, полати, лавки, фотографические карточки на стене и выглянул в окно. Ему показалось, что за углом мелькнуло лицо Настасьи. У самого окна качалась желтая влажная ветка березы. Он тронул ее, листок оборвался и, мягкий, прохладный, остался в руке. Он почувствовал страшную слабость, ружье валилось из рук. Стискивая зубы, он снял с правой ноги сапог, взвел курок ружья, поставил ружье на пол и упер стволом к себе в подбородок. Потом он закрыл глаза и медленно стал поднимать правую ногу. Вот уже большой палец коснулся железа. Он нащупывает собачку. В последнее мгновение у Аверьяна дрогнула рука со стволом. Раздался выстрел.

Прошло несколько минут. Он открыл глаза и услышал бешеный лай собаки за дверью. Не узнавая, он стал осматривать избу, смотрел и не верил, что он живет и видит эту избу, эту дверь, слышит лай своей собаки. Из оцарапанной щеки текла кровь, но боли он не чувствовал, он помнил только одно: он жив!

Он встает, открывает дверь и сразу видит вдали плесо у мельницы и человека на плоту, забивающего в плотину доску. Собака прыгает на Аверьяна с радостным лаем и визгом, она почти сбивает его с ног, он то и дело прислоняется к стене. Неуверенно он подходит к воротам и держится за них. Он жив и все это видит! Вот она лежит перед тобой, земля, полная изобилия и радости! Прозрачные реки текут по лесам. По берегам их отдыхают лоси... На лесные озера белым облаком опускаются

лебеди. В Согре, по дуплам и колодинам расплодилась куница; в соснах у самой деревни поселились тетерки. Весной вся земля полна бормотания и чужьякания косачей. На рассвете, в поле, у самого твоего амбара, ты слышишь, как все ходит ходуном. Ты выходишь на пригорок и видишь вокруг землю, лишенную покровов, теплую, с запахами молодых плодов и свежести. Она рассыпается и хрустит под пальцами, и кожа твоя розовеет, наполняясь прохладой и соком. Осенью, когда на листьях берез появляются «кукушкины слезы», ты придешь сюда снова и увидишь поселившуюся тут навсегда гостью юга — озимую пшеницу. Где-нибудь в сырах, на Вожгской стороне снегом западают нескошенные тучные травы. Случайно попавшая сюда лошадь ходит по уши в пырее, в медовых сосульках. Она бежит к тебе с тихим ласковым ржанием, потому что неделями не видит человека. Перестали пасти в лесу коней.. Конские тропы на Митревы пенники, к Исаковой избушке давно заросли, затески на деревьях облились серой и потемнели. Изгороди стаек упали, шалаши потгнили. Там, где толстым слоем лежал мох — постель твоего деду, отца, — выросли из шалаша однолетки осины и стены покрылись грибками. Там, где твой дед рубил лучину, теперь не бывал топор, и древний «костер», повернутый на юг комлями, овидетельствует еще о том, что в этом направлении была дорога. Где-то на Жарах или на Иксе рубят лес, но стук топоров долго еще не долетит сюда, озеро Данислово долго еще будет видеть человека гостем, и лоси, не боясь тебя, будут отдыхать по берегам Шивды..

Да, он жив и хочет жить всегда, не умирая. Он будет жить и докажет всем свою великую любовь к этой земле, к лесам, к рекам, небу, к человеку, докажет свою чистоту перед всеми. Докажет потому, что чувствует в себе громадные силы. Он разрешит теперь сам все трудности, все вопросы, хотя еще не знает, как это сделает, но сделает, потому что он любит землю и человека на ней.

Босой, в расстегнутой рубашке он выходит в огород и жадно вдыхает запахи осени. Ноги его влажны, к ним пристают семена старых трав. Щеки его розовеют. Он идет по полю, сам не зная куда. За ним бежит Зорька. К ней пристают еще несколько собак. Они провожают его по всему полю.

Он проходит гумна. В воротах неподвижные женские лица.

У погребов, на середине поля, он видит Настасью. Настасья идет к нему на виду у всей деревни. Торопится. Вот уже совсем рядом.

— Ты живой...

Он хочет произнести: «Настасья», — но боится, что она опять уйдет от него, и встает впереди нее на тропу.

— Что мы делаем!.. — чуть слышно говорит Настасья.

К сельсовету подъехала машина. Из нее неторопливо вышел секретарь райкома Ребринский.

Макар Иванович встретил его на крыльце и провел к себе в комнату.

Поговорили о молотье, об озимях, о сухой осени. Потом Василий Родионович попросил

дело Аверьяна. Несколько встревоженный Макар Иванович подал дело. Ребринский долго рассматривал его. Нашел заметку из старой газеты — клевету на Азыкина, брезгливо поморщился. Кто и для чего раскопал все это? Протокол написан торопливо, безграмотно, всюду поправки. Он оттолкнул папку.

Может ли быть, чтобы он так грубо ошибся? Он вспоминает гибкую фигуру Аверьяна, его упругую походку, сознание силы и достоинства на его лице, и ничего не может понять. Ему становится нестерпимо обидно от того, что именно этот, на которого он так надеялся, оказался с изъяном. Десять лет Ребринский на партийной работе — перед ним прошли сотни людей, больших и малых. Сейчас судьба одного незаметного, затерянного в лесу человека волнует его по-особенному. Может быть, это потому, что он тоже, как и Аверьян, весь от лесов, от земли, что в нем та же неутомимая жадность к жизни?

Нет, он думает об Аверьяне не только потому, что их объединяет любовь к природе. Как могла притти в голову эта мелкая мысль?

Василий Родионович кивнул на папку:

— Сами-то вы тут разбираетесь?

— Да вот постановили...

— Азыкин вам помогает?

— Да. Занимается с нами по «Краткому курсу». Приезжает часто. Вот, пожалуй, один-то Азыкин у нас и есть.

— Неправда, — сказал Ребринский. — У вас есть хорошо развитые коммунисты. Вот этот ваш дорожный мастер. Потом маслодел Филипп Грихонин. Когда-то в совпартшколе

учился. Что они перестали работать над собой? А ты расшевели, заставь!

Ребринский назвал еще несколько коммунистов.

Макар Иванович удивленно смотрел на него.

— Да если так считать, то, конечно, — согласился Макар Иванович.

— Так что же вы не могли как следует подготовить партийного собрания?

«На самом деле, — подумал Макар Иванович, — как же это получилось?»

Ребринский вышел из сельсовета и зашагал под гору, к реке. Макар Иванович догнал его.

— Что же ты, — с мягким укором заговорил Ребринский, — людей не знаешь?

Макар Иванович молчал. Он думал о том, что сельсоветские дела мешают руководить партийной организацией. Хотел пожаловаться на свою недостаточную грамотность, но спохватился: все это отговорки, скажет секретарь. «Давно ли ты на общественной работе?» — «Да вот, никак, шесть исполнится». — «Значит, пора чему-то научиться...»

— Теперь будет посвободнее, — сказал Макар Иванович.

За рекой, на старосельских пожнях, женщины снимали лен. Ребринский направился туда.

Утром был иней, пристывало. Сейчас земля отошла. Шелестели кусты. По-летнему спокойно сияли лужи. Поля раздвинулись, стали незнакомо просторны и тихи.

Из Старого села навстречу Ребринскому вышел Манос. Он был в плаще, с полевой сумкой на боку, прямой, бодрый.

— Приветствую! — крикнул Манос и прило-

жил руку к козырьку фуражки. — Председатель колхоза «Искра» — Колыбин.

Он сунул Ребринскому руку и поправил на плече ремень.

Ребринский рассматривал его высокую прямую фигуру. Он уже не раз встречался с Маносом, знал и о его чудачествах и о том, что при желании этот человек мог хорошо работать.

— Людей нехватает, Василий Родионович, — четко произнес Манос.

— Может быть, поискать, — они и найдутся.

— Нет. Смотрите сами. Пятнадцать у Белого мостика лен снимают. Двенадцать ушли на Исаковы десятины хвою для подстилки скоту тесать. Старики: Климаша да Лукан ушли к Бабьему озеру за берестом. Семеро уехало на станцию с картошкой. И получается — ни там, ни тут.

Манос вытянулся, настороженно ожидая.

— Сколько у тебя стариков и подростков? — спросил Ребринский.

Загибая на руках пальцы, Манос принялся считать:

— Тимоха с внуком, Белоножка, Степанида, Вася Бухаркин, Лывушкин со своей Перепетой.

Манос прошел по порядку все Старое село. И сам удивился: насчитал больше двух десятков.

— Эти люди могли бы хвою тесать? — спросил Ребринский.

— Да ведь, понятно, дело не тяжелое.

— Вот их и попроси, а всех крепких отправь на лен.

Манос приложил руку к козырьку кепки.

— Тут еще не все.

Манос посмотрел на Макара Ивановича.

— Вот Чуприков. Ушел в лес, вторые сутки ни слуху, ни духу. А по-моему — парень всех мер.

— Так что же он срывает работу?

Манос круто повернулся.

— Тут, Василий Родионович, есть такие оптики, что ой-ой! Прогульщик с партбилетом!

Манос помолчал. Ноздри его широко раздувались. Он хотел сказать что-то злое, но только махнул рукой.

— Хотите, я приведу вам факт с отрицательными замашками?

Ребринский молча кивнул.

— Когда в начале жнитвы начисляли двойной трудодень, так этот Илья Евшин вместе с женой с полосы не сходил. А как перестали, так он сразу повез зерно государству.

Манос перевел дыхание и указал Ребринскому на полосу у леса. В середине полосы было широкое темнозеленое пятно.

— Второй пример: Илья взялся подобрать после молотилки и смотрите, что сделал! Озимь на том месте пошла.

Немного помолчав, Манос добавил:

— Вы бы, Василий Родионович, зашли к этому товарищу в огород. Вот где у него интерес жизни!

Ребринский переглянулся с Макаром Ивановичем. Тот отвел глаза.

Манос пригласил Ребринского к себе ночевать, но тот сказал, что нужно сходить в другие колхозы, сам еще не знает, где остановится на ночлег.

Пропала на избе крыша. Дорожки тесин заросли зеленым мохом, серыми лишаями, концы совсем сгнили, как обуглились, не достают до застрехов.

Аверьян приставляет лестницу и лезет на крышу. Марина стоит внизу.

Они мирно беседуют.

— Придется все снимать. Ты не видала дорожильника?

— Знаю. В задней избе.

Они снимают с одной стороны весь тес, кладут на землю в стопку, и Марина идет за инструментом.

Солнце давно взошло. Ясно. В броду, на Аньге сияет песчаная коса. Земля совсем голая. Прошли первые заморозки. Потемнела и сникла у изгородей крапива. Громадные листья девесила повисли тряпками. Вечерами стало холодно. Давно отлетели журавли...

Иван Корытов едет из леса с дровами.

— К зиме и пчелки забираются в тепло! — с улыбкой говорит он Аверьяну.

— Да, да, пора все проверить! — с напускной бодростью отвечает Аверьян.

Он берет у Марины дорожильник. Оба садятся на стопку теса и начинают прочищать дорожки. Рыхлая грязная стружка разлетается в труху.

Руки у Марины маленькие, загорелые, пальцы истыканы жнитвиной. Она дергается вслед за инструментом, вытягивает даже шею, как плышет. Чувствуя усталь, она невольно разжимает руки, дорожильник проскакивает вхолостую. Она виновато смотрит на Аверьяна. Нет,

Аверьян не сердится. Он теперь день ото дня добрее, но это только больше пугает ее. Марина видит, что для нее у него ничего нет, только эта обижающая доброта. Она думает о том, сколько ей придется жить одной, без него, и тихонько плачет.

— Чего ты? — участливо, со страхом спрашивает Аверьян.

— Так что-то придумалось.

Он выпускает ручки дорожильника. Долго сидит задумавшись. Потом, не глядя на нее, тихо произносит:

— Правда. Ничего у нас не выходит...

Марина отвечает сквозь слезы:

— Сейчас сама так думаю. Тогда я этого не понимала.

И смотря на него без злобы, похудевшая, с большими тоскующими глазами, добавляет:

— Только не уходи так, скажись...

Аверьян молчит. «Да, надо ей сказать», — думает он.

В Старое село опять приехал Ребринский. Он вылез из машины с ружьем в руках и направился к дому Аверьяна.

Аверьян сидел за столом и завтракал. Приезд Ребринского как будто не удивил его. Он радостно поднялся навстречу и усадил гостя за стол.

— Только с реки, — сказал он. — А уток мало. Да я, признаться, не совсем люблю эту охоту. Мне бы все в лесу.

С дороги Ребринский хотел есть. Он с удовольствием хлебал с Аверьяном суп из вареных рыжиков.

— Так что будем делать? — хитро сощурившись, спросил он Аверьяна.

— Придется в лес итти...

В сенях послышалось шуршанье плаща, скрипнула дверь, и через порог шариком перекатилась кривоногая Маносова Розка. Она покатила по избе, все обнюхала, осмотрела и легла у печки.

— Ко мне в гости, Василий Родионович? — сказал Манос, входя в избу.—Я велел Авдотье самовар поставить.

— А мы идем на охоту.

— Ну что ж, ни пуха вам, ни пера! Долго пробудете?

— Часа на три, — ответил Аверьян.

Манос погладил бороду, встал. Розка подкадилась к двери.

— Тогда вы мимоходом осмотрите читальню. Устроена при помощи женских сил.

— Хорошо, хорошо, — закивал Василий Родионович.

Манос быстро вышел.

Позавтракав, Аверьян надел старую фуфайку, лапти—«в них легче ного»,—кликнул собаку, и они пошли.

На окнах читальни висели занавески. У крыльца толстым ковром лежала хвоя.

В читальне слышались голоса.

Женский голос: — Что-то все пишет, пишет.

Манос: — А как же, матушка, я административное лицо.

Женский голос: — Этому лицу много доверено...

Манос: — Да ведь у меня живые люди!

Когда они вошли в читальню, Аверьян сразу догадался, что Манос отвечал так для того, чтобы слышал секретарь. Аверьян улыбнулся и молча стал наблюдать за Маносом.

Манос сидел за столом. Перед ним лежала полевая сумка. Стол был покрыт чистой скатертью. За спиной Маноса висело полотенце с большими оранжевыми петухами. Пол в читальне был чисто вымыт, посередине лежала домашнего тканья цветная дорожка. У левой стены стоял большой стол. На нем лежало несколько развернутых газет и журнал «Молодой Большевик». Три женщины сидели на лавочке. Они, видимо, только что кончили уборку читальни. Сидели, раскрасневшиеся, с подоткнутыми юбками.

— Вот тут я для себя столик поставил, — сказал Манос. — Иногда буду приходить наблюдать текущую жизнь.

Манос вышел проводить их. Шагал в ногу с секретарем и говорил:

— Вчера у нас один парень приехал из Западной Белоруссии. Порасскажет — хорошо встречали нашу Красную Армию.

Манос гордо выпрямляется.

— Если потребуется, так мы, Василий Родионович, ратники второго разряда, тоже сумеем рассердиться!

Остановились у гумен. Манос хозяйственно осмотрел поля пожни по берегу Модлони. Всюду было пусто. Стоги жались один к другому. Пятнами темнели кусты. В полянке у Лебежского хутора Василий Родионович заметил совершенно розовый склон.

Манос тянулся, ожидая похвал.

— Это хорошо, — сказал Василий Родионович. — Только что же вы солому-то на полосах оставили? Посылаешь в лес хвою тесать, а тут лежит солома!

Он указал на розовые полосы.

— Овес был такой, что на одном вершке хвост и голова, — виновато ответил Манос. — Ниже никак не берет машина.

— А вы бы косилкой.

— Косилку не могли направить... — ответил Манос и с раздражением подумал: «Чорт его знает, льномялку устанавливал, а с этим дьяволом ничего не мог поделать».

Василий Родионович снова осмотрел поля. «Нет работы с людьми, — еще раз отметил он для себя. — Нужно будет заняться ими вплотную».

— Ну, пошли, что ли! — решительно произнес он.

Манос довел их до середины поля и попросил долго не задерживаться в лесу. Время все-таки глухое.

Они идут через Марьин поток. В кустах сухо, запах устаревшей травы и листьев. Трава высокая и редкая, листья лежат на ней, как на дне реки.

Василий Родионович давно не бывал на осенних пожнях. Он жадно рассматривал кусты, рыжие муравейники, нарядные рябины, полосы солнечного света на земле, на белых стволах берез.

Они на ходу срывают прозрачные оранжевые ягоды шиповника и вполголоса беседуют.

— Взял на две недели отпуск, — говорит Аверьян. — Надо в лес походить да кое-что перечитать. Сижу вечерами.

— Что у тебя такое? — как бы между прочим спрашивает Василий Родионович.

— Дело разберешь — увидишь. У меня ничего нет. — Аверьян быстро поворачивается вправо. — Опять эта собака!

Они подходят к опушке. Лес неподвижен. Очень далеко лает чья-то собака.

Зорька неторопясь переваливается между деревьями. Коротенькая, отяжелевшая, над глазами большие желтые пятна. Издали кажется, что у нее двойные глаза. Вот она останавливается, смотрит на вершины и виляет хвостом.

— Берет только опытом, — говорит Аверьян. — Ничего не слышит. Сверху упали перышки — осколки сосновой коры. Вот догадывается: она где-то тут.

Аверьян осматривает елки. Сейчас его тело напряжено. Сколько в нем уверенности, спокойствия и силы! Василий Родионович смотрит на него сбоку. Аверьян чувствует на себе его взгляд и с улыбкой говорит:

— Я каждый раз — как впервые, а охочусь больше двадцати лет.

Слышно потрескивание сучьев под ногами Зорьки.

Потом она начинает часто лаять.

— Пошли, — говорит Аверьян и смело, без опаски шагает вперед.

Василий Родионович еле поспевает за ним. Вот уже совсем рядом собака, а Аверьян все ступает без разбора. Метрах в двадцати от собаки, в мелком ельнике, он останавливается. Встает и Василий Родионович и держит руку на груди.

Посмотрев с минуту на вершины трех высо-

ких елок, Аверьян уверенно произносит: «Ага!» — и повертывается к Василию Родионовичу.

— Ну, вот тебе задача — рассмотреть. Можно с этого места, можно ходить кругом этих высоких елок.

Собака продолжает лаять. Посматривает на людей, перебегает с места на место и лает.

Василий Родионович с тревогой принимается осматривать вершины. Но там все спокойно: темнозеленая хвоя, шишки, голубые просветы неба.

Аверьян стоит в стороне. Ружье у него по-прежнему за плечами. За ремнем белеют варежки. В руке топор.

Василий Родионович продирается сквозь сучья. Мягкие кочки с хрустом обжимаются у него под ногами. Он ничего не видит.

— Не спеши, — ровно говорит Аверьян. — Успеем. Да, пожалуй, с того бока, где ты сейчас, должно быть лучше видно. Бывает, что она прилепится к сучку в вершине, в мох затянется. Подлезешь к самой — никак не можешь различить. Так глазок, увидишь, чернеет или ухо — в нем кисточка...

Василий Родионович снова смотрит вверх и видит на сучке пепельную полоску. Кругом седой лишай, хвоя. Полоска неподвижна. Наконец он различает кончик пушистого хвоста. У него начинает сильно биться сердце.

— Вижу! — кричит он.

— Я знаю, что теперь видишь, — спокойно отвечает Аверьян. — Хорошо. Иди сюда. Белку надо бить только в голову, чтобы не портить шкурку.

Василий Родионович бежит к нему, встает рядом и сразу видит у самого ствола маленькую голову белки.

— Стреляй, — говорит Аверьян. — Не торопись. Она никуда не уйдет. Она наша. Главное дело — найти...

Василий Родионович поднимает ружье. Руки у него немного дрожат. Потом это проходит.

Белка неподвижна.

Собака умолкает и смотрит то на Василия Родионовича, то на вершину.

Раздается выстрел. Подгибая сучья, как по ступенькам, белка спускается книзу. Несколько секунд висит на нижних сучках и падает прямо в рот собаке. Дав Зорьке немного помять ее, Аверьян кричит:

— Будет! Положи!

Подняв белку, он раздувает шерсть у нее на шее сверху и говорит:

— Первый сорт. Мездра совсем белая.

Он даст Василию Родионовичу подержать белку и смеется глазами, видя, как тот несколько смущенно и радостно осматривает ее.

Аверьян отрезает у белки передние лапки и бросает их собаке. Зорька не спеша уходит в лес.

Они тоже идут. Аверьян на ходу обдирает белку.

— Рекомендуются снимать сразу, — говорит он. — А то кровь запекается — дефект.

Потом он обезжиривает шкурку ножом и сует ее в сумку. Зорька неожиданно появляется перед ними и подхватывает тушку на лету.

Они шагают без дороги. Аверьян не смотрит по сторонам, идет прямо, как в своем доме.

На кочках темная перезревшая брусника. Ее теперь можно есть горстями. Она опадает от легкого прикосновения. Около старых мостков через ручьи и сыри — заросли черной смородины. Крупные ягоды лежат на земле.

Начинаются сухие светлые гряды, вырубки. На опушках много белки, много высоких сухих осин: дерево на краю леса гибнет скорее...

— Кто выкопал эту газетную заметку про Азыкина? — спрашивает Василий Родионович.

— Коммунист Илья Евшин.

— Что он за человек?

— Не скажу про него ни худого, ни хорошего: он поднял на меня дело. Слышишь, вон чужая собака лает?

— Да...

— К этому человеку нам надо подойти.

Они останавливаются на краю гряды и слушают. Далеко, далеко в Пабережском лесу слышится выстрел. Собака перестает лаять. Зато снова слышится Зорька. Лай у нее отрывистый, ленивый.

— Вот сейчас надо быть осторожным, — говорит Аверьян и снимает ружье. — Ты постой. Потом крикну.

Склонившись, он быстро и беззвучно двигается от елки к елке и вскоре пропадает.

Василий Родионович нетерпеливо ждет. Когда раздается выстрел, он не дожидается крика и бежит со всех ног. Запыхавшийся встает перед Аверьяном.

Аверьян держит в руках тетерку и гладит ее грудь.

— Поровну, — говорит он с улыбкой, — моя белка, твоя эта.

Зорька расходится. Аверьян не успевает обдирать белок. Он просто сует их за ремень. Вскоре совать становится некуда. Вокруг его тела белки, как ожерелье. Хвосты один подле другого, головушки подвернуты на грудь. У некоторых не тронуты большие яркие глаза. Они кажутся живыми.

Выстрелы в лесу и лай все ближе.

Василий Родионович осматривает лес. В какой стороне деревня — разберись! Правда, если б найти просеку, тогда он смог бы легко определиться. В одном месте они видят старый квартальный столб, но кругом так заросло, что просеку можно угадать только по положению столба.

Они выходят в сыр. Совсем рядом лает чья-то собака. Они прыгают с кочки на кочку, хватаются за жидкие сосенки. Наконец, сухой берег, тропа. Обтертая ногами осиновая валежина. Между елками голый холм — Лисьи ямы.

Слышатся удары обухом в елку. Через несколько минут они видят между деревьями рыжую с белыми пятнами собаку.

Аверьян улыбается.

— Ты опять в наш лес пришел! — кричит он.

Из-за ветвей показывается человек лет сорока, с рыжей бородкой, в хороших охотничьих сапогах, в синем холщевом пиджаке. Он смотрит на них и сверкает чистыми, белыми зубами.

— Опять заблудился.

— Да нет, видно, дело не в этом, — с улыбкой говорит Аверьян. — Я вот неделю в лес хожу и каждый день тебя слышу. Черти, шихановцы, выщелкаете у нас всю белку!

Оба смеются.

Аверьян указывает охотнику на Василия Родионовича.

— Познакомься, Семен, это секретарь райкома.

— А! товарищ Ребринский! — говорит охотник и протягивает Василию Родионовичу большую чистую руку. — Выстрелить-то хоть разок удалось?

— Не разок, а много, — говорит Аверьян. — И только одну шкурку испортил.

— Дело, — одобрительно замечает Семен.

Теперь лают обе собаки. Все трое начинают рассматривать белку.

Семен подходит к дереву и начинает стучать обухом.

— Смотрите!

— Смотрим, — отвечает Аверьян. — Вон она. — Он снимает с плеча ружье и стреляет.

Семен подбирает упавшую белку, достает из патронташа заряженный патрон, подает Аверьяну и принимает от него пустую гильзу. Калибр у них один. Потом они идут.

Собаки бегут впереди, то показываясь, то снова скрываясь. Изредка Аверьян или Семен покрикивают:

— По-ла-а-а-ай!

Или свищут, давая понять собакам, в каком направлении они идут. Собаки держатся этого направления и по пути ищут.

— Мне, знаешь, потребовался ты один раз, — говорит Аверьян Семену. — Не мог вспомнить, из какой ты деревни, как звать! Вот удивительное дело! А тут — как-то услышал твою собаку и все вспомнил.

— Однажды мы с ним закружились, — поясняет Василию Родионовичу Семен.— Ходили да ходили, попали в такую сырь, что никак и не разберешься. Лес оборванный: суша не суша, сырая не сырая, по сучью не выйдешь, солнца нет. И место совсем незнакомое. Чувствуем оба: больно где-то далеко от деревни. А была сушь. Леса даже позапрошлый год горели. Хочется обоим пить нестерпимо, поэтому и в сырь-то попали. Стал свет меняться. Да так быстро. Шагаем наугад. Свалишься, станешь вставать, слышишь — сзади пыхтит, тоже свалился. Одно время так, пожалуй, один встает, другой ложится. Коленки оборвали, белеют, как у прежних святых. Я говорю: «Ты как хочешь, а я больше от этой елки не оторвусь». Наклонился так, смотрю—суша. Давай дрова рубить. Нарубили дров, костер наклали. Накидали вокруг хвои, от земли-то оторвались, стало тепло. Свету только что у костра. Посмотришь кверху, как в трубу. Вот попали. Погибнешь — никому не найти! Подремлем, да поговорим. Вспомним, когда в каких местах в лесу бывали, какие похождения прошли. Не спали всю ночь. Потом я чуть приклонился. «Аверьян!» — «Что?» — «Я вершины увидел!» Верно. Смотрим оба — вершины. Потом яснее и яснее, и настало утро...

Они останавливаются и осматривают лес. Светлая осиновая роща. Посредине течет какая-то речушка.

— Шивда! — говорит Аверьян. — Далеко попали. Надо сознаться — я виноват. Вел к Онисиму в избушку...

Он смотрит на Василия Родионовича.

— Разве можно побывать у нас в лесу и не увидеть озера Данислова?

Василий Родионович кивает головой. Про старых охотников Лавера и Онисима он слышал.

Подходят к озеру.

— Что ж, — говорит Семен. — Придется ночевать и мне с вами.

Аверьян показывает в сторону.

— Итти сейчас некуда.

На земле, под ветвями уже темнеет. Собаки выходят на дорогу. В вершинах совсем тихо. Озеро виднеется сквозь деревья — синими пятнами.

Онисим только что пришел с охоты и раскладывает перед избушкой костер. Он больше любит варить на воле.

Собака настороженно рассматривает незнакомых людей.

— Ляг! — говорит он ей.

Собака отходит к углу избушки.

— Как раз к ужину, — говорит Онисим. — Устали?

Охотники, громко разговаривая, моют на озере ноги, руки и присаживаются к костру. Онисим три раза стучит обухом в сухое дерево. За долиной слышатся три ответных удара. Вскоре на полянку выбегает Гроза и за ней неспеша, раскачиваясь и глядя прямо перед собой, показывается Лавер. Он подходит к костру, молча кивает Семену, потом Василию Родионовичу, которого рассматривает долго и внимательно, и садится поодаль.

— Как промысел? — спрашивает его Василий Родионович.

— Это наш секретарь райкома, — поясняет Аверьян.

Лавер понимающе кивает головой, достает табакерку, нюхает, потом говорит:

— В этом году промысел будет на белку. А птицы опять мало.

Потом спрашивает:

— Нарочно к нам приехал?

— Да. Ваши леса посмотреть.

Лавер не отвечает.

Онисим рвет около избушки высохшую траву и обтирает коготь с большого черного чайника. Аверьян берет чайник, приносит с озера воды и подает старику.

Онисим сердито спрашивает:

— Не съехал?

— Нет, все живет на Лебеже, в бане.

Онисим почти бросает чайник на землю.

Во время ужина вдруг настораживаются собаки и смотрят на темную тропу.

На полянку выкатывается кривоногая Розка, быстро все обнюхивает и садится перед Онисимом. Потом слышится шуршанье плаща. Манос стремительно выбегает из темноты. Перепачканный в грязи, утомленный и притворно злой.

— Вот они, черти! — кричит он. — Насилу-то догадался. А то уж, думаю, завтра придется народ собирать, разыскивать.

— Чудак! — говорит Аверьян. — Нарочно пришел?

— А как же! У нас, брат, каждый человек дорог. Вот и побежишь, не глядя на ночь. Столько раз падал, что если в один ряд вытянуть — хватит до Чернемы.

Манос быстро скидывает плащ, идет на озеро, потом садится вместе со всеми в кружок к столу.

Котел окутан паром. Аппетитно пахнет свежей дичью. Манос от нетерпения причмокивает губами и вертит в руках большой ломоть хлеба.

Онисим стучит по краю котла ложкой: можно начинать.

Манос первый запускает свою большую ложку в котел и вытаскивает ее полную до краев.

Собаки в стороне грызут кости.

Немного отдышавшись, Манос говорит:

— В сельсовет опять какой-то приехал. Станет вышки ставить. Сказывают, тридцать семь метров каждая.

— Это для того, чтобы лучше видеть всю страну, — замечает Василий Родионович.

— А! — понимающе кивает Манос. — Работа оборонного значения. Тогда мы на эту вышку будем заглядывать!

1940,

Малеевка

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---------------------------|-----|
| Часть первая | 3 |
| Часть вторая | 41 |
| Часть третья | 95 |
| Часть четвертая | 145 |

Издательство просит читателя отзыв, как в содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников изд-во просит организовать учет спроса на книгу и сборы читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 10, изд-во „Советский писатель“.

Редактор А. Митрофанов

Тираж 10000

Подписана к печати 15 января 1941 г.

А33102

Печатных листов 6

Авторских листов 6,75

Количество знаков в печатном листе 49280

Цена: в переплете 4 р. 25 к. Зак. № 303

**Полиграфкомбинат им. В. М. Молотова.
Москва, Ярославское шоссе, 99.**

4 p. 25 к.